

АНДРЕЙ  
ИГНАТЬЕВ

СИИД  
ОМ  
ВЕРТЕПА

КРИЗИС  
КАК ПЕРФОРМАТИВНЫЙ  
КОНТЕКСТ

 европа.

**Андрей Игнатъев**  
**Синдром вертепа. Кризис как  
перформативный контекст**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=54332150](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54332150)*

*Синдром вертепа. Кризис как перформативный контекст: Век XX и  
мир; Москва; 2020  
ISBN 978-5-6043661-0-3*

**Аннотация**

В книге предлагается реконструкция предпосылок и фабулы политического транзита, осуществленного в России в период 1987–2018 годов; автор книги считает, что советское государство представляло собой образцовую теократию, только что основательно модернизированную, что такая или иная теократия является непрямым спутником революций, оформляя их кульминационный момент, преодоление тотального социального распада, и что у постреволюционной нормализации есть довольно жесткий сценарий, определяющий альтернативы политического выбора в условиях, когда государство конструируется заново.

Текст печатается в авторской редакции.

# Содержание

Введение: революция и государство	5
1. Взлет и падение одной утопии: советские рок- группы в контексте истории	37
2. Размышления о советском государстве: революция и теократия	81
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Андрей Игнатъев  
Синдром вертепа.  
Кризис как  
перформативный контекст

*Отречемся от старого мира, отряхнем его прах  
с наших ног! Гимн Российской республики*

*Замолчи, замолчи, замолчи, сумасшедший  
шарманщик!*  
*А. Вертинский*

*Qu'ai-je fait pendant la Terreur? – J'ai vécu.*  
*Attribué à Sieyès*

© Андрей Игнатъев, 2020

© «Век XX и мир», 2020

# Введение: революция и государство

Эта книга представляет собой заключительную часть трилогии, которую я задумал где-то на исходе 80-х годов прошлого уже века, когда стало понятно, что советский человек (и я вместе с ним) отправляется в долгое опасное странствие через Лабиринт, натуральный инициатический «трип», который неизвестно во что обойдется, куда приведет и чем кончится, трилогия должна была послужить комментированным рассказом об этом странствии; первая книга трилогии, «Структуры Лабиринта», опубликована в 1995 году издательством Ad Marginem. теперь настало время трилогию завершить. Когда-то мы ждали перемен, так вот, эти перемены состоялись, их очередной большой цикл завершился, более того, действительность превзошла самые смелые наши ожидания: сам я теперь практически другой человек, сменил профессию и род занятий, завел новую семью, иногда почти всерьез думаю, не сменить ли фамилию, далее, если получится, даже намерен жить где-нибудь реально в другой стране.

Понятно, что эти перемены случились не враз, они происходили на протяжении длительного (по биографическим, разумеется, а не историческим меркам) времени, более

трех десятилетий<sup>1</sup>, происходили очень постепенно некоторые аналитики в ретроспективе этих перемен даже вспоминают пресловутое «окно Овертона». Текущее определение ситуации и для меня самого, и для разных моих собеседников, и для «властей предержащих» неоднократно и достаточно основательно менялось, соответственно менялись наши частные планы на будущее, а вслед за ними и концепция этой предполагаемой итоговой работы. Термин «синдром вертепа», вынесенный в ее заглавие и отсылающий к метафоре, вокруг которой организована предлагаемая читателям аналитика, появляется еще в книге «Хроноскоп, или Топография социального признания», опубликованной в 2008 году издательством «Три квадрата» и составляющей вторую часть трилогии, за годы, прошедшие со времени ее публикации, можно было убедиться, что этот термин достаточно точно определяет предмет моих размышлений и удобен для использования в контекстах повседневной рефлексии, никаких оснований, чтобы от него отказаться, как-то пересмотреть или заменить каким-то другим, я не вижу, скорее, наоборот.

Первоначально я надеялся и даже питал достаточно стойкую иллюзию, что сумею вернуться в академическое сообщество, которое по разным личным обстоятельствам поки-

---

<sup>1</sup> Точнее, на протяжении 32 лет, считая от алма-атинских беспорядков в декабре 1986 года, с которых начался терминальный кризис империи, до выборов президента РФ в марте 2018-го и перемен, которые за ними последовали, как раз цикл кардинальных перемен по Ибн-Хальдуну. См.: Игнатенко А.А. Ибн-Хальдун. М.: Мысль, 1980.

нул (думал, на время, оказалось, что навсегда) в самом конце 80-х; соответственно, планировал, что это будет монография по социологии религии с изложением учебного курса, который я читал в колледже Св. Фомы, РГГУ и Св. – Филаретовском институте, надеялся даже, что результаты моей аналитики религии как социальной практики можно будет защитить в качестве докторской диссертации, однако постепенно стало понятно, что коллеги видят во мне то ли опасного диссидента, то ли местного городского сумасшедшего и что их не переубедить, признания в качестве достойного и равноправного члена корпорации мне не добиться, да и желание чего-то такого добиваться пропало: для себя я все, что хотел, понял, ощущения, что вот это и есть конец странствия через Лабиринт, не возникло, а самодовлеющей мотивации просвещать у меня особо не было с самого начала.

Вслед за этим я решил было завершить трилогию рассказом о своем личном опыте консультативного диалога, не без оснований полагая, что вот это и есть мое истинное социальное амплуа или даже призвание в новой реальности, сложившейся в России после 1991 года, даже начал такую книгу писать, используя, в частности, материалы учебного курса, который читал сначала в МФТИ будущим менеджерам, а потом в ГАУГН начинающим социологам. Когда-нибудь, возможно, что-то такое еще будет сделано; более того, прототипом аналитики, предлагаемой читателям, является скорее фокусированное интервью, развернутый ответ на вопросы, кото-

рые обычно задают о советском прошлом (что это было такое и прочее), нежели традиционный формат отчета о проведенном исследовании. Моей «эмпирической базой», в частности, послужила главным образом информация, почерпнутая из консультативных диалогов, рефлексия о личном практическом опыте совладания с кризисом, а не результаты массовых опросов или статистические данные, отсюда стилистика, которой я придерживался. Тем не менее этот проект тоже пришлось отложить или даже отставить, потому что постепенно стало понятно: завершение трилогии о странствиях через Лабиринт – задача практическая, а не интеллектуальная, сначала надо все-таки завершить перемены или хотя бы увидеть на горизонте Землю обетованную и узнать, чем все реально закончилось, только потом сочинять свой итоговый отчет о пережитом.

Задача консультанта состоит, конечно, не в том, чтобы сконструировать эмпирически обоснованную и логически стройную (это к исследователям) или тем более бесспорную (за этим в церковь или в партком) теорию какого-либо феномена, но прежде всего в том, чтобы помочь клиенту (в данном случае – читателю), отвечая на его/ее вопросы, принять какое-то важное, но неочевидное по своим основаниям и рискованное по своим последствиям решение; такое решение, очевидно, может определять и конкретные практические действия клиента, и выбор методологической позиции или какого-то другого диспозитива, и обращение к та-

ким или иным источникам информации, общего у них только одно: их предмет расположен в будущем, которое еще реально не настало<sup>2</sup>. В самом общем случае вопросы, которые задают консультанту, могут быть разделены на три группы: как добиться того или иного результата (самые распространенные и простые, ответ на них требует чисто технических знаний или даже обыкновенного житейского опыта), чего можно или нельзя хотеть в той или иной конкретной ситуации (вопрос гораздо более редкий и сложный, для ответа на него требуется уже достаточно основательное знакомство с подобными ситуациями и развернутый диалог), наконец, вопросы касательно определения этой самой ситуации, то есть контекста, в котором возникла проблема, требующая решения, и предпринимаются соответствующие действия, – самые редкие, трудные и важные из тех, какие вообще задают консультанту его или ее клиенты, тут уже необходимы какие-то хотя бы элементарные навыки системного анализа. Когда-то «старшие товарищи» меня научили, а чтение книг и собственная практика убедили в их правоте, что в реально сложной и неочевидной ситуации, когда обращение за консультацией реально необходимо, на вопросы о средствах и сценариях действия невозможно ответить, не задавшись вопросом о его целях и желаемых результатах, а на этот вопрос,

---

<sup>2</sup> Понятно, надеюсь, что человеку, у которого заведомо нет вопросов касательно советского государства или постсоветского транзита, не важно даже почему, читать эту мою книгу попросту нет смысла.

в свою очередь, часто невозможно ответить, не задавшись вопросом об определении ситуации, в которой все это происходит, то есть о предполагаемых ответах на вопрос «где я нахожусь», в том числе о моделях вероятного развития событий в результате тех или иных действий. Такого сорта модели различаются не столько по степени своей обоснованности (суждения о прошлом всегда могут быть оспорены и заведомо гипотетичны, а суждения о будущем – недоказуемы в принципе), сколько по их релевантности и валидности: прежде всего, модель должна быть релевантной, то есть порождать ответы на заданный консультанту вопрос, и валидной, то есть порождать ответы, которые обеспечивают более или менее приемлемое решение проблемы, возникшей у клиента. «В норме» источником таких моделей является идеология или традиция, в кризисе за ними приходится обращаться к специалистам-аналитикам, прежде всего, конечно, к социологам и психологам.

Именно так постепенно я пришел к замыслу, который попытался реализовать в данной книге: предпринять реконструкцию предпосылок и фабулы политического транзита, осуществленного в период 1987–2018 годов, реконструкцию, конечно, сугубо предварительную, эскизную, чисто сценарную, как если бы я собирался консультировать телесериал об этом периоде или подростка, которого он вдруг заинтересовал (на большее у меня не достало бы ни образования, ни праны), а кроме того – реконструкцию в перспек-

тиве и с позиции обывателя, которому выпало, подобно аббату Сиейсу, совладать с этими самыми переменами, оставшись в живых, на свободе и без заметных телесных или нравственных повреждений, – только что обывателя несколько более вдумчивого и даже искушенного в аналитике<sup>3</sup>, нежели так называемые пикейные жилеты; завершению этого проекта (читателю судить, успешному ли и насколько) немало способствовали контакты с сотрудниками Центра фундаментальной социологии «Вышки», куда я одно время даже пытался устроиться на работу – может, правда, и хорошо, что из этого тоже ничего не вышло.

Надо заметить, что для такого вот обывателя, далекого от придворных аппаратных интриг или их идеологической obsługi в массмедиа, события августа 1991 года и их ближайшие последствия были полной неожиданностью, для кого приятной, для кого не очень, для кого исполнением апо-

---

<sup>3</sup> См.: Bourdieu P., Wacquant L.J.D. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: Univ. Chicago Press, 1992; Brekhuis W.H., Ignatow G. (eds.). *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology*. Oxford: Oxf. Univ. Press, 2019. Думаю, эти две ссылки – вполне адекватная идентификация моего собственного подхода к аналитике: предполагается, что ее предметом является поведение индивида (поэтому ее субъект вправе апеллировать к личному опыту), что это поведение рационально, то есть либо с самого начала является воплощением какого-то сценария («проектом»), либо всегда может быть представлено таким образом в ретроспективе («рационализировано», как говорят психоаналитики) и что этот сценарий обусловлен актуальным перформативным контекстом, то есть проблемной ситуацией, в которой индивид осуществляет стратегическую рефлексию, именно поэтому такой подход востребован в консультативной практике.

калиптических пророчеств<sup>4</sup>, а для кого и геополитической катастрофой (не думаю, правда, что эта точка зрения сформировалась, как говорится, «по горячим следам»); более того – далеко не сразу стал понятен истинный масштаб происходящих событий, их последствия стали видны только очень сильно задним числом, сразу после большинство населения восприняло эти события чисто как очередной кризис власти, каковые в советском государстве случались, и нередко, конфликт между прогрессивными и реакционными или, наоборот, патриотическими и подрывными, это кому как, «силами» в руководстве, переход, если хотите, скипетра и державы из одних рук в другие. Многие и сейчас так считают.

В советские времена и даже какое-то время по их завершении я тоже оставался таким же политически индифферентным обывателем, то есть вообще не задумывался, что «там у них наверху» происходит и чего от «них» ждать, тем более что чего-то особенно интересного или полезного ждать не приходилось: у меня была красавица-жена, достойные жилищные условия, вполне соразмерный доход и прочее, жил безбедно и при деле, плыл, куда глаза глядели, даже после того, как ничего этого не стало. Стратегия исподволь начала меняться только на самом исходе перестройки, когда покойный Толя Антонов пригласил меня аналитиком

---

<sup>4</sup> 21 августа 1991 года видел у Моссовета на Тверской человека, который громко и вслух читал окружающей его публике «Откровение Св. Иоанна», главу 18, это там, где о падении вавилонской блудницы.

в свой Центр социально-стратегических исследований и мне пришлось отвечать на подобные вопросы уже разным ответственным товарищам, причем, как говорится, на социетальном, а не персональном уровне. Именно тогда и по результатам предметных консультативных диалогов я впервые задумался, что, собственно, произошло в августе 1991 года и как оно теперь будет, когда ни партии, ни социализма больше не будет.

То есть на самом деле я впервые об этом задумался, когда году в 1988 на семинаре в Институте системного анализа, где в те поры трудился, слушая покойного В. Лившица, рассказывавшего о концепции новой, реформированной экономики, задал докладчику вопрос, понимает ли он и его коллеги, что впереди переходный период длиной лет десять, не меньше (думаю, я одним из первых употребил этот термин), и что людям все это время надо будет как-то жить, В. Лившиц отшутился, сославшись на благодетельную, хоть и невидимую руку рынка, я на это заметил, что нам, интеллектуалам, предложить на рынке нечего, Нина Наумова, которая вела семинар (эта книга – вообще путешествие в царство мертвых), дискуссию пресекла, но это был лишь преходящий всплеск тревоги.

Тренд, который довольно быстро стал проступать из подтекста разговоров и дискуссий в Центре, состоял примерно в том, чтобы ликвидировать всякого рода идеологически мотивированные «обременения» советской экономики и таким

образом сделать ее более рациональной, довольно быстро стало понятно, что в итоге, когда реформы завершатся, останутся только ТЭК, ВПК, совсем уже мелкий бизнес, до которого «серьезному человеку» попросту нет и не может быть никакого дела, – это все потом, а также какое-то довольно большое количество иждивенцев, то есть стариков, женщин и детей, с которыми тоже нужно будет что-то решать, тем не менее предполагался в лучшем случае «евроремонт» прежнего государства, ни его разрушать, ни тем более, создавать на его месте какое-то новое никому в голову не приходило, никто даже не понимал, что это все уже случилось.

Для меня самого первый звонок прозвенел в памятные октябрьские дни 1993 года, которые я провел у приятеля, не отходя от телеэкрана и радиоприемника, которых у меня тогда не было, а интернет и социальные сети еще не изобрели, когда все закончилось и хозяин спросил, что теперь будет, я отшутился: «Не знаю, никогда прежде не занимался Латинской Америкой», отчасти, конечно, это была импровизация ad hoc, однако перемены в устройении и характере государства, которых следовало теперь ожидать, тоже были очевидны. Вторым звонком послужил дефолт 1998 года, после которого стало понятно, что надеждам, которые мы питали, и планам, которые строили с моей новой женой (тоже, естественно, красавицей), похоже, не сбыться, новым «властям предержажшим» попросту нельзя доверять, никаких прежних правил игры они соблюдать не намерены; с новыми же по-

ка ничего не ясно, но подозревать уже можно самое худшее, именно тогда мы всерьез задумались о переезде в другую страну и даже получили вид на жительство в Чехии, но тут нам сделали предложение, от которого не отказываются, и мы остались. Третьим звонком, после которого мне окончательно стало ясно, что прежнего советского государства больше нет, страна в транзитной зоне и привычные идеологические стереотипы, включая традиционную политическую философию, теперь инвалидны, когда в августе 1999 года на телеэкране появился голубоглазый нордический блондин с берегов Балтики, заявивший, что собирается-де навести в России порядок, этого, как известно, дотоле никому не удавалось<sup>5</sup>, однако манеры преемника не оставляли сомнений, что он человек добросовестный, в средствах стесняться не будет.

На момент написания книги сложились и хорошо различимы два альтернативных подхода к реконструкции фабулы политического транзита, осуществленного в период 1987–2018 годов: гипотеза, согласно которой события, с которыми оказался сопряжен этот транзит, как и его результаты, – следствие некомпетентности и дурных моральных качеств правящей элиты или даже лично «первых лиц» государства, то есть, попросту говоря, историческая случайность, свое-

---

<sup>5</sup> Вполне допускаю, кстати, что это была преднамеренная, вполне в духе специфического путинского сарказма, каким мы его теперь знаем, аллюзия на поэму А.К. Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева», но это, конечно, только моя личная версия.

го рода дорожный инцидент, только в особо крупных размерах, и гипотеза, по которой эти события, их следствия и даже персональный состав их участников – результат хитроумного заговора, то есть государственный переворот, задуманный руководством отечественных спецслужб еще в 70-е годы или даже раньше и уже на нашей памяти успешно осуществленный его преемниками. Меня обе эти гипотезы как-то не увлекают, на мой взгляд, постсоветский политический транзит на самом деле очень сложный социальный процесс<sup>6</sup>, конкретный формат и перспективы которого обусловлены масштабами геополитических перемен, случившихся в 90-е годы, а предпосылки сложились еще в советском государстве, по разным соображениям, которые можно будет отчасти понять, читая данную книгу, предпочитаю исходить из этой третьей гипотезы, не отбрасывая, разумеется, первые две вовсе, какая-то правда в них тоже есть.

Сегодня, конечно, очевидно, что того, прежнего, советского государства действительно больше нет, на его месте воздвигнуто какое-то совсем новое политическое сооружение с другим флагом, гербом (про гимн не буду), конституцией, режимом правления и набором институтов, или, точнее, нормативных ожиданий и практик, потому что институтами в строгом значении термина эти практики не являются.

---

<sup>6</sup> Эта книга практически уже была готова к публикации, когда Г.О. Павловский опубликовал очень похожую точку зрения, также, кстати, основанную на опыте консультативных диалогов. См.: Павловский Г.О. Ироническая империя. М.: Европа, 2019.

ся, пока, во всяком случае. Более того, изменилось не только устройство государства, но и социальная идентичность населения, реальный советский человек остался в прошлом, на его месте появились, как некогда в повести В. Аксенова «Остров Крым», казалось бы, навсегда уже забытые этнонимы или даже пустоты, проблематичность которых становится предпосылкой особенно жестоких идеологических и социальных конфликтов. События 1991 года, следовательно, были очередной русской революцией (точнее, конечно, ее переломным моментом), а не государственным переворотом, как многие до сих пор считают<sup>7</sup>. Это, конечно, спорное утверждение, к нему я еще вернусь, и неоднократно, оно требует достаточно пространный рассмотренный и обоснованный, однако интерпретация каких-либо событий как революции, государственного переворота или несчастного случая определяет не только квалификацию действий, которые совершили или не совершили их непосредственные участники (был ли это героизм, преступление, служебная халатность или вовсе глупость), но и диагностику последующего развития событий, включая, естественно, результат четвертьвеко-

---

<sup>7</sup> Обычно я по вполне уважительным причинам избегаю дефиниций, однако в данном случае какое-то разъяснение термина необходимо: революцией я называю любого сорта катастрофу (природную, техногенную, социальную), вследствие которой происходит обрушение государства как политического института, и его приходится конструировать заново (что, собственно, и оправдывает самый термин), прочее либо острый политический кризис, «беспорядки», либо и вовсе риторика, призванная украсить борьбу за власть.

вого постсоветского транзита. Но если так, то и реконструкция фабулы этого транзита означает на практике прежде всего обсуждение вопроса, что такое было советское государство, как оно было устроено и вследствие чего рухнуло, поскольку же такое обсуждение требует основательного экскурса в теорию революции и государства, параллельно будут (разумеется, очень вкратце) рассмотрены и некоторые инварианты всякого возможного политического транзита.

Понятие социального (или просто) института (потому что в языке социологии практически все существительные удостоены прилагательного «социальный»), вокруг которого организована предлагаемая читателям аналитика, прежде всего указывает на какую-то практику, то есть комплекс повседневных действий, предполагающих универсальную и безличную мотивацию, унифицированную и принудительную рациональность, а также общепризнанную и бесспорную легитимность, иными словами – действия, которые являются всеобщей обязанностью, а не предметом свободного выбора (именно на это указывает присловье *nothing personal, just a business*). Способ их осуществления всем известен, для всех одинаков и не предполагает сколько-нибудь существенных (если вообще каких-нибудь) вариаций, в том числе персональных, а сами такие действия даже не предполагают оправданий или пояснений – достаточно их назвать, то есть употребить специальный термин, имя нарицательное, которое у институциональных практик обязательно есть, всем извест-

но и даже нередко является идиомой, оправданий, и достаточно изощренных, требует как раз отказ от совершения таких действий или незнание соответствующего термина. Принято считать, что действия, предполагаемые социальными институтами, необходимы для воспроизводства данного конкретного «социального порядка», то есть его сохранения в процессе смены поколений или при каких-то других изменениях, которые могут его разрушить, социологи называют такие действия функциями. Никакая практика не становится институтом сразу и навеки, институты складываются исторически и, как правило, на протяжении длительного времени, более того, институционализация почти никогда не завершается достижением идеала, то есть формированием массового поведенческого автоматизма (привычки, попросту говоря). Кроме того, возможен и обратный процесс, деинституционализация, когда практика, некогда бывшая социальным институтом, снова превращается в предмет группового консенсуса или даже личного выбора. С этой точки зрения институтами прежде всего являются традиции, то есть совокупности устойчивых массовых привычек (скажем, занимаясь научными исследованиями, вступая в интимные отношения, обращаясь к услугам пригородной железной дороги или же совершая какие-нибудь действия в других перформативных контекстах), поступать именно так, как предписывает институциональный сценарий, тогда как правовые институты только субститут таких привычек или, в услови-

ях «модернизации сверху» и всякого рода социетальных реформ, инструмент их формирования.

Здесь же надо, пожалуй, добавить, что существуют две комплементарные модальности властвования, лидерство и господство, которые различаются характером отношений между властителем и его подвладными: в первом случае субъектом желания, то есть инвестором либидо или других ресурсов, необходимых для осуществления власти, являются подвладные, а предметом этого желания – ценности, которые контролирует властитель, именно поэтому «народ» может выбирать свое правительство, а оно перед «народом» должно отчитываться на пресс-конференциях или во время предвыборных кампаний, во втором – наоборот, инвестором либидо и субъектом желания является властитель, а предметом его желаний – ценности, которые контролируют подвладные, именно и только поэтому у правительства есть возможность отдать приказ, который «народ» вынужден будет выполнить. Коротко говоря, отношения лидерства и господства вполне могут рассматриваться как зеркальное отображение друг друга.

Чтобы стало понятно, при чем тут вся эта социология, как именно понятие института сопряжено с непосредственным личным опытом кризиса и транзита<sup>8</sup>, попробую сопоставить

---

<sup>8</sup> Всякий транзит не откуда куда, понятно, что из рабства египетского в Землю обетованную, это через что именно, то есть это всегда преодоление какой-то архетипической проблемной ситуации, аналитика которой, собственно, и предлагается в данной книге.

два фильма практически на один и тот же сюжет, который разворачивается в разных контекстах и рассчитан на разную публику, но, как мы знаем, достаточно точно моделирует реальное развитие событий в аналогичных случаях, – американский *Gran Torino* с Клинтом Иствудом в главной роли и российский «Ворошиловский стрелок» с Михаилом Ульяновым: в обоих случаях есть свора насильников, распустившихся из-за бездействия полиции, есть их жертва, очаровательная юная девушка, которой зритель не может не сочувствовать, и есть старик, ветеран, который, как говорится, берет правосудие в свои руки, осуществляя успешную акцию возмездия и протеста.

Начну с того, что необходимость в таких акциях возникает именно потому, что в обоих случаях имеет место образцовая «чрезвычайная ситуация» по К. Шмитту и Дж. Агамбену: действие правоохранительных институтов блокировано (в одном случае полиция коррумпирована, в другом повязана действующими служебными инструкциями), соответственно, исчезает или становится номинальным и право мирных граждан на защиту, которое эти институты обеспечивают «в норме», то есть в ситуациях, которые принято называть «штатными», именно и только поэтому возникает необходимость в акциях возмездия и протеста, которые в силу этой же самой необходимости приобретают экстраправовой характер – странно было бы, если бы мирные граждане не вовсе пренебрегли защитой личности и собственности от

преступников, а полиция, пренебрегая исполнением одних своих нормативных функций, обеспечивала бы исполнение каких-то других.

Отмечу далее, что обращение к акциям возмездия и протеста в обоих случаях остается предметом личного морального выбора, а не какого-то альтернативного обязывающего императива, например корпоративной солидарности или обычая кровной мести: герои обоих фильмов вполне могли бы, как до них уже многие другие, смириться с обстановкой бандитского «беспредела», чувствительным оскорблением и ущербом для репутации у соседей, более того, какое-то время они даже пытались это сделать, не удалось, но такая альтернатива была, разница, пожалуй, только в одном: осуществляя акцию возмездия и протеста, герой российского фильма действует в парадигме господства, вследствие чего совершает ответное преступление, от ответственности за которое его избавляет та же самая коррумпированность полиции, в то время как герой американского фильма, действуя в парадигме лидерства, ценой собственной жизни вынуждает полицию к осуществлению права граждан на защиту.

Читал когда-то, что научные революции случаются из-за того, что накопилось слишком много аномалий, то есть всякого такого, чего не должно быть, это не по понятиям, а оно есть, более того – игнорировать всякое такое невозможно, значит, нужны перемены, политические революции, скорее всего, происходят ровно по той же причине: накопление ано-

малый, развитие аномии во внутри- или внешнеполитических контекстах, конфликт, который не удастся разрешить посредством диалога между лидерами сторон, затем эскалация этого конфликта, и началась стрельба, а там уже жертва за жертву, пока не сложится новый социальный порядок. Строго говоря, публичное самоубийство, которое совершает герой Клинта Иствуда, а до него целый ряд вполне реальных героев сопротивления, пожалуй, единственный способ осуществить эффективную акцию возмездия и протеста, оставаясь, как говорится, «в правовом поле». В этом очевидная разница между старинными и теперешними массовыми демонстрациями: столетием прежде, а кое-где и гораздо позже, выходя на площадь, человек реально вступал в конфронтацию с правоохранительными институтами, шествие или толпу вполне могли на законном основании расстрелять, а индивида на многие годы отправить «на зону» или в психушку.

У древних классических иудеев был закон, то есть правила, обязательные к исполнению, но не было прав, не уверен также, что нечто подобное было у древних римлян (исключая, наверное, право обратиться в суд, которое отнюдь не было универсальной нормой), думаю, право в собственном значении термина появляется только в условиях монархии, сначала как личное, а позднее – сословное исключение из закона, возникновение которого замечательно экспонировано в повести Марка Твена «Принц и нищий»: по закону, в присутствии короля все обязаны стоять, но для одного из

героев на основании личных заслуг сделано исключение – он имеет право в присутствии короля сидеть, если, конечно, готов пойти на риск, сопряженный с использованием этого права на практике. Точно так же у меня когда-то было право курить в здании чикагского Illinois Center, этим правом меня наделил лично владелец здания, но я, понятное дело, воспользовался им только однажды, во время разговора с этим человеком, когда, собственно, такое право и получил, так-то я всегда соблюдал закон, то есть курил на улице у входа. В советское время ветераны войны имели право на получение разных услуг без очереди, то есть в нарушение общепринятого неписаного закона, был даже анекдот, будто ветеранам предоставлено право переходить улицу на красный свет, анекдот, конечно, злой и несправедливый, но хорошо демонстрирует статус права как исключения из закона.

Первоначально права были только у суверена<sup>9</sup>, потом у отдельных его приближенных, еще потом, уже гораздо позже, у определенных сословий (в США, например, закон, известный как «правило Миранды», предусматривал права, отличающие арест свободного человека от поимки беглого раба, отсюда пресловутое «зачитай ему права»), и только французская революция конца XVIII – начала XIX века сделала право всеобщим достоянием, тем самым, с одной стороны,

---

<sup>9</sup> С этой точки зрения заявкой на суверенитет, пусть даже вполне легендарной, можно считать попытку римского императора Калигулы сделать свою лошадь членом сената: по закону, конечно, этого сделать было нельзя, да и народ бы не понял.

уравнивая «третье сословие» с былыми эксклюзивными обладателями прав, аристократией и духовенством, а с другой – упраздняя специфику самого этого понятия, откуда уже характерное для нашего времени неразличение права и закона. Тем не менее любая нормативная декларация прав, будь то права человека и гражданина от 1789 года, просто человека от 1948 года или, например, гражданина Российской Федерации от 1993 года, определяет права именно как виды действий, которые законодатель, а это республиканский псевдоним суверена, выводит из-под действия всякого возможного закона, эпитет «неотъемлемые», который в таких случаях обычно предшествует существительному «права», только подчеркивает, что эти права, в принципе, могли бы и всегда могут быть отняты, но суверен или его полномочный представитель на своей инаугурации клятвенно обязуется этого не делать. Отсюда, в частности, практика так называемого поражения в правах, восходящая к изначальному и действительно неотъемлемому праву суверена наделять правами или их лишать, идиома «качать права», отсылающая к специфическим практикам и контекстам их осуществления, а также концепция естественного права, которая, по сути дела, констатирует существование действий, на которые закон не должен распространяться в принципе, независимо от позиции суверена, потому что это несообразно с природой человека как живого существа: попросту говоря, всякий человек, пока жив, все равно будет уклоняться от исполнения со-

ответствующей нормы, не так, так этак.

Понятно, что в условиях глубокой и стойкой аномии, когда закон не соблюдается вовсе или соблюдается от случая к случаю, а также, тем более, долговременного и крупномасштабного транзита и кризиса, то есть классического «чрезвычайного положения», когда закон проблематизирован априори, термин «право» утрачивает свое специфическое значение и становится просто расхожей метафорой порядка в его отличии от полного бардака, понятно также, что «право на протест» норма до крайности двусмысленная: номинально это привилегия, разрешение суверена критиковать свои решения или даже вступать в конфронтацию с их исполнителями, однако использование этой привилегии на практике означает либо признание сложившихся отношений власти, пусть даже в опосредствованной и хорошо камуфлированной форме, либо серьезный риск и даже необходимость принести себя в жертву, подобного сорта нравственные или политические дилеммы и есть Лабиринт, от блуждания в котором избавляют социальные институты.

Слово «вертеп» в контексте предлагаемой аналитики сохраняет свое обычное тройное значение: прежде всего, это обычный или даже механический театр марионеток, устройство, которое достаточно часто используется как метафора ситуации, в которой находится и действует индивид<sup>10</sup>, отсю-

---

<sup>10</sup> Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л.: Художественная литература, 1973. Как так получилось, что наиболее распространенными вертепами являют-

да уже пейоратив, который доселе часто встречается в чисто политических контекстах, далее, это логово разбойников, куда по неосторожности и нравственной неразборчивости, волею злой судьбы или по долгу службы и в силу взятых на себя обязательств попадают герои всякого рода «романов воспитания как прозаических, так и его кино- или телеверсий»<sup>11</sup>. Наконец, это замкнутое пространство, откуда нет выхода, «застенок», внутри которого происходит инициация героев архаической ритуальной драмы, эпического нарратива или же их современных дериватов.

Общего у всех трех значений слова «вертеп» только то, что каждое из них является метафорой контекста, где нельзя делать, что хочется, что позволяет или диктует личная и социальная идентичность, – метафорой, которая моделиру-

---

ся башенные часы старых европейских городов и кукольные представления на такую же вечную, как течение времени, тему Рождества Христова, отдельный интересный вопрос, но это обстоятельство ничего в сказанном здесь не меняет. Не готов прямо здесь обсуждать и другой, не менее интересный, вопрос: является ли множественность значений слова «вертеп», то есть «пещера», указанием на его скрытую омонимичность или же, как я считаю, отсылкой к одному и тому же очень сложному архетипу, то есть фундаментальному антропологическому инварианту культуры. Тем фактом, что теперешней русскоязычной широкой публике известно только одно из значений этого слова, вынужден пренебречь как не имеющим отношения к делу.

<sup>11</sup> Таким, например, кино- или теле- «романом воспитания» является, на мой взгляд, телесериал «Место встречи изменить нельзя», фабулу которого составляет инициация героя, а развязку – его благополучный исход из вертепа, действительно, место встречи с собственно идентичностью и судьбой изменить нельзя, это всегда вертеп.

ет разрыв между идентичностью и перформативным контекстом, вынуждающий индивида надевать и носить всяческие маски, соответственно, выражение «синдром вертепа» обозначает устойчивое субъективное переживание повседневной социальной реальности как вертепа, феномен, под разными другими названиями не только хорошо известный из самых разных источников как специфическое расстройство личности, невроз или, в острых случаях, даже психоз, но и основательно исследованный как естественный результат социализации в недружественных социальных контекстах. Отчасти, конечно, такое переживание – реактивная или даже вовсе эндогенная иллюзия, оттого-то с ним достаточно успешно справляются психотерапевты и психиатры, однако же какие-то реальные основания или эмпирические референты у этого переживания есть всегда. Удостоверенный персекуторный бред, как известно, вовсе не избавляет от преследователей и не гарантирует личной безопасности, социальные контексты, которые и на самом деле являются вертепами в любом из указанных значений этого слова, отчасти исторически сложившиеся, отчасти организованные специально, встречаются сплошь и рядом, законченным, безусловным и, думаю, преднамеренным воплощением синдрома является, например, концентрационный «лагерь уничтожения», как о нем свидетельствуют в мемуарах бывшие узники.

Нехитрая гипотеза, которую я предлагаю своим читате-

лям, опирающаяся в основном не столько на политическую теорию (хотя прецеденты у моей аналитики, разумеется, тоже есть), сколько на собственный личный житейский и консультативный опыт, состоит в том, что истинным погубителем государств, раковой опухолью, которая разъедает самые их основания, и, следовательно, истинной причиной революций являются вовсе не происки зарубежных спецслужб или тем более дурные нравы правителей, а вот этот самый «синдром вертепа», общая тема таких, казалось бы, разных авторов, как Э.Т.А. Гофман, М.Ю. Лермонтов и Франц Кафка, или, в совсем другом ряду, поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» и культового советского фильма «Осенний марафон», вышедшего на экраны как раз незадолго до начала «перестройки», то есть переживание контекстов личной повседневной жизни индивида как места неволи и немощи, вынуждающее ждать перемен, на них надеяться и их добиваться или поддерживать, остальное простые, неизбежные и достаточно типичные следствия этого синдрома, первичной, простейшей и наиболее распространенной артикуляцией которого как аффекта является обыкновенная скука, оттого-то вторым по значимости условием политической стабильности являются зрелища.

Напротив, дурные нравы правителей, особенно демократически избранных, на которые нередко списывают результат постсоветского транзита, вообще говоря – инвариант политического процесса, иначе не бывает, забраться на такую

высоту и там оставаться на протяжении сколько-нибудь длительного времени, да еще добровольно и даже с удовольствием, способен только конченный социопат, чтобы не сказать редкостная сволочь<sup>12</sup>, оттого-то влиянием данного конкретного фактора на прочность устоев или сценарии транзита в большинстве случаев можно пренебречь, оно ничего не объясняет и никого не оправдывает. Но это только одна сторона вопроса, другая, куда более важная, состоит в том, что правители тоже люди, ничто человеческое им не чуждо, контексты, следовательно, которые провоцируют «синдром вертепа» у обывателя, вызывают вполне конгруэнтные переживания у правителя, они созависимы и образуют неразлучную интимную пару, примерно как наркоман или алкоголик и его любящая подруга. Народ, коротко говоря, всегда достоин своих правителей, друг для друга они зеркало, на которое, как известно, неча пенять, у правителя, правда, больше, нежели у обывателя, возможностей с критической ситуацией совладать, однако и личная ответственность выше.

Читая то, что реально получилось, вижу, что свой исход-

---

<sup>12</sup> Во всяком случае, это куда более реалистичная, нежели канонические фольклорные измышления о «добром царе и злых псарях», диспозиция, которая избавляет от ненужных и неуместных ожиданий. См.: Lasswell H.D. *Psychopathology and Politics*. N.Y.: The Viking Press, 1962; классический труд, вышедший первым изданием еще в 1930 году и очередной раз переизданный в 2016 году. Имеется в виду, конечно, специфическая акцентуация характера, помимо которой власть не взять и не удержать, а вовсе не психопатология в клиническом значении термина. Впрочем, граница между ними в наиболее ярких случаях размыта, да и в перспективе обывателя это ничего не меняет.

ный замысел я, конечно, осуществил, но несколько странным образом, скорее блуждая в саду с разбегающимися дорожками (или странствуя через лабиринт), нежели двигаясь от посылки к заключению, как это принято в академических публикациях, допускаю, что это моя неудача как аналитика, однако не думаю, что поставленную задачу можно было решить как-то иначе: советское государство оказалось очень сложной, хитроумно устроенной и не слишком прозрачной системой, детальное исследование которой только начинается. Максимум, чего тут реально можно хотеть сегодня, – предварительная («пилотная») концепция предмета, которая бы предлагала достаточно эффективные «оптику и язык», то есть эпи-стемический контекст, в свою очередь, обеспечивающий постановку частных и конкретных научных проблем, выдвижение гипотез касательно их решения, интерпретацию уже имеющихся эмпирических данных или моделей, а также их агрегацию и теоретический синтез, надеюсь, что с этой задачей пропедевтики к исследованию советского государства и постсоветского транзита я справился.

Надо, наверное, пояснить, что по своим методологическим убеждениям я достаточно старомоден, наблюдаемая социальная реальность для меня только морфология, которая воплощает такую или иную структуру, но это, однако, не «способ производства», как у Маркса (никогда, кстати, не мог понять, что это такое), и не религия, как у М. Вебера, которая тоже возникает не на пустом месте, а гораздо более

фундаментальная социальная матрица, в просторечии именуемая нуклеарной (биологической) семьей: комплекс отношений созависимости между мужчиной, женщиной, ребенком, пищей, диспозитивами, позволяющими ее раздобыть, и всякого рода источниками ресурсов, этот предвечный «базис» любого возможного общества, который, конечно, никогда не меняется, определяя, в свою очередь, архетипы коллективного бессознательного и прочие антропологические инварианты культуры; различны только форматы его воплощения в таких или иных условиях, «теократия» и «женский мир», к диалектике которых я прихожу в результате своего исследования, только наиболее общие такие форматы.

Еще, пожалуй, надо предупредить, что феномен, который я попытался, блуждая по этому лабиринту, рассмотреть поближе и даже, если получится, объяснить, включивши в какой-то более широкий эпистемический и социальный контекст, – не столько постсоветский транзит как таковой, сколько общество, очень похожее на античное, как его экспонируют историки культуры, но как бы в его зазеркальном изводе, парадоксальное воплощение расхожих феминистических идеологем: тоже континджентная публичная сфера и конститутивная приватная<sup>13</sup>, однако социальное при-

---

<sup>13</sup> Это все термины одного из вариантов когнитивной социологии: континджентными называются перформативные контексты, в которых повседневное социальное признание обеспечивает соперничество и поединок, конститутивными – контексты, в которых его обеспечивает сдача экзамена, то есть соответствие каким-то заранее известным нормативным требованиям, привык считать, что эта

знание и статус обеспечивает базар, а не агора, симпозиум или стадион (базар, естественно, «восточный», больше даже похожий на обычную «толкучку», а вовсе не «западный» институциональный рынок), при этом место в центре общества занимают женщины, а не мужчины, как в Афинах или Спарте, мужчины на периферии общества (поэтому их не видно) что-то добывают (скорее всего, не проводя особых различий между законными, криминальными и «теневыми» практиками), женщины относят добычу на базар и там продают, покупая затем все, что нужно для семьи. Знаю о таком из рассказов о временах большой войны<sup>14</sup>, экономического кризиса или другой катастрофы, видывал такое в раннем послевоенном детстве и в «лихие 90-е», вижу иногда в диаспорах, это, конечно, какие-то периферийные социальные контексты, предполагающие, что где-то по соседству есть что украсть, у кого выпросить или кому продать, тем не менее подозреваю, что так называемый «административный рынок» и прочие поздне- или тем более постсоветские изыски тоже женский домен: мужчина где-то за кулисами создает или добывает интеллектуальный продукт, женщина на сцене

---

дихотомия сохраняет валидность далеко за границами контекстов, предполагающих трансляцию знания как такового. См.: Куле К. СМИ в Древней Греции. М.: НЛО, 2004; Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Новое изд-во, 2007; Cicourel A. V. Cognitive Sociology: Language and Meaning in Social Interaction. L.: Penguin, 1973.

<sup>14</sup> Такие коллизии, например, являются фоном или даже вторым планом типичного отечественного «ментовского» телесериала, а также достаточно часто экспонированы в медиа.

его лоббирует, обеспечивая таким образом своему мужчине статус, который тот затем инвестирует в благосостояние семьи, просто обыватель ни этой сцены, ни публики в зале не видит. Полная регрессия в архаику, какую довольно часто демонстрируют в телесериалах и шоу как норму (женщина сидит дома, готовит еду и присматривает за детьми), наверное, тоже возможна, но в современных глобальных контекстах, думаю, это утопия или локальный эксцесс.

Внешние и чисто стилистические особенности данной работы (обращение от первого лица, в отличие от нормативных для академического дискурса безличных оборотов, или апелляция к опознаваемому личному опыту взамен ссылки на репрезентативные статистические данные, авторитетные прецеденты и прочую мануфактуру, помимо которой, как считается, вменяемой и доказательной аналитики не бывает) отнюдь не являются основанием для всяческого рода иллюзий касательно научной добросовестности и профессиональной компетенции ее автора (всегда готов объясниться и защитить то или другое), но главное – не избавляют от необходимости иметь хотя бы самое общее предварительное знакомство с антропологией Г. Бейтсона и В. Тернера, социологией Э. Гофмана и психоаналитикой О. Кернберга, а также классической экзистенциальной эссеистикой и драматургией, более того, эти источники только введение в этиологию и феноменологию синдрома, которое отнюдь не исчерпывает темы. При этом, конечно, стоит иметь в виду, что ана-

литика всякой исторически сложившейся, сложной и относительно долговечной системы, вот как советское государство<sup>15</sup>, больше похожа на раскладывание пасьянса, нежели на доказательство теоремы, если пасьянс более или менее сошелся, то есть наличная совокупность «данных» о системе успешно представлена как нарратив со своей специфической «порождающей грамматикой», изъядны логики или фактографии, без которых никакая аналитика не обходится, сами по себе не имеют значения (в разумных пределах, разумеется), в расчет принимаются только другие версии такого же самого пасьянса.

Еще, пожалуй, надо добавить, что категорически не люблю пересказывать чужие или собственные старые публикации, не говоря уж их цитировать, поэтому в тех случаях, когда мне что-нибудь такое необходимо для разъяснения или обоснования какого-то своего утверждения, просто на них ссылаюсь, читателю же предлагается выбор: либо ознакомиться с этими публикациями самостоятельно, либо поверить мне на слово. Как правило, ссылка показывает, что автор (я то есть) не один такой умный, что высказана точка

---

<sup>15</sup> Слово «система» означает, что предмет аналитики рассматривается как перформативный контекст, у которого есть границы, структура и какая-то собственная динамика, с этой точки зрения для действующего политика или бизнесмена, практикующего консультанта и прочих субъектов стратегической рефлексии системой является все что угодно, любые контексты их решений и действий, которые остается только реконструировать: теократия, например, система принципиально иного типа, нежели сеть.

зрения, которую разделяют и другие, в том числе авторитетные и вполне уважаемые исследователи, а кроме того позволяет читателю при желании окунуться, так сказать, в подразумеваемую реальность, в том числе, естественно, реальность идей и гипотез, а не только фактов. В той же вполне традиционной форме выражена и признательность всем тем, кому я обязан критически важными консультациями или подсказками, признательность же за материальную и моральную поддержку, которую мне в период работы над книгой оказывали близкие, друзья и бывшие студенты, все равно не выразить никакими словами, не стоит даже пробовать. Когда-то в застольном разговоре очень достойный человек и по совместительству католический священник, завязывая в узел ложку из чистой стали, заметил, что мои суждения и оценки лично у него вызывают желание немедленно сделать что-нибудь такое, чтобы я замолчал, но он понимает, что это скорее его проблема, нежели моя, надеюсь, к такому же, если что, выводу придут и читатели данной книги.

# 1. Взлет и падение одной утопии: советские рок-группы в контексте истории

Фраза, которая вынесена в заглавие<sup>16</sup>, вырвалась у меня почти случайно, когда я однажды попытался разъяснить общий, так сказать, дизайн серии публикаций, которые подготовлены с моим более или менее активным участием и посвящены любопытному, однако не слишком исследованному феномену: отечественным рок-группам и их публике<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Ранее эта глава уже была опубликована как статья: Игнатъев А.А. Взлет и падение одной утопии: советские рок-группы в контексте истории // Труды РАШ. Вып. 14. М.: РГГУ, 2016. С. 59–88.

<sup>17</sup> См.: Игнатъев А., Марочкин В. Хроноскоп русского рока. 1953–2004. М.: ОбКом, 2005; Ма-рочкин В., Сычева Н., Игнатъев А. Песни нашего поколения. Шестидесятые. Ростов н/Д: Феникс, 2010; Марочкин В., Сычева Н., Игнатъев А. Семидесятые. Ростов н/Д: Феникс, 2011; Марочкин В., Сычева Н., Игнатъев А. Восьмидесятые. Ростов н/Д: Феникс, 2012. Помимо этого, стоит иметь в виду еще две публикации, к сожалению, менее доступные: Жариков С. Музыкальная анатомия поколения независимых. М.: Special Radio, 2006; Бастер М. Хулиганы-80. М.: ANOK TCI, 2009. Для более общего знакомства с практиками и структурами советского underground можно рекомендовать еще три публикации: Савицкий С. Андеграунд. История и мифы ленинградской неподцензурной литературы. М.: НЛЮ, 2002; Нильсен Ф.С. Глаз бури. СПб.: Алетейя, 2004; Уральский М. Избранные, но незванные. Историография «независимого» художественного движения. СПб.: Алетейя, 2012. Этот короткий список отнюдь не исчерпывает литературы вопроса, однако указывает наиболее информативные и заслуживаю-

Замысел этих публикаций был достаточно скромным – собрать под одной обложкой, расположить в хронологическом порядке и оформить как занимательную «историю» те фрагментарные и весьма разнородные сведения о наиболее популярных советских рок-группах, какие у нас имелись, если получится – с момента появления таковых на территории СССР и вплоть, как говорится, до настоящего времени. Тем не менее по мере решения этой задачи постепенно стало ясно, что рассказ о былых временах и их героях, хотя бы отчасти интересный читателю, предполагает не только исходную совокупность данных, обладающих фактической достоверностью, но и какую-то «следственную версию», то есть предварительную гипотезу о социальном процессе, внутренняя логика которого связывает эти данные между собой, преобразуя их в нарратив, обладающий реальным, а не выдуманым эмпирическим референтом. Иначе говоря, пришлось исходить из того, что отдельные события, которые в данном случае считаются релевантными, связаны друг с другом и являются «вкладами» в осуществление какого-то общего проекта<sup>18</sup>, подобная точка зрения, разумеется, не исключает, что

---

щие доверия источники (на мой личный вкус, разумеется).

<sup>18</sup> Такая гипотеза составляет «подразумеваемое обстоятельство» всякого эпического или исторического нарратива, а также структурного анализа в социологии, антропологии и лингвистике, не вижу причины, по какой ее нельзя было бы принять и в данном конкретном случае. См.: Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003; Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М.: Научный мир, 2003; Geertz C. Works and Lives. The Anthropologist as Author. Stanford: Stanford Univ. Press, 1988.

у каждого такого события есть какие-то свои конкретные причины и своя перспектива, однако включает их в более широкий контекст. Более того, при отсутствии какой-либо предварительной гипотезы, пусть даже весьма проблематичной, единственным «форматом», в котором исходные данные могут быть представлены читателю, или тем более аналитику; остается хронология событий (типа, например, той, какую предлагают словари Webster или Larousse), тогда как их идентификация как художественного направления, политического движения, особой категории феноменов или еще чего-нибудь такого, что указано на обложке справочника, учебника, монографии или другой аналогичной публикации как их специфический предмет, всегда может быть с легкостью поставлена под вопрос. Отсюда, думаю, парадоксальные классификации Х.Л. Борхеса или повсеместные безрезультатные споры о содержательности общих понятий, которые не прекращаются вот уже добрых две тысячи лет, а в наши дни отчего-то даже стали достаточно влиятельным интеллектуальным трендом, превращающим любое исследование в собирание коллекции фактов.

Отчасти поэтому (но также и в силу давнего непосредственного знакомства с предметом исследования) авторы публикаций, на которые я в данном случае опираюсь, с самого начала исходили из того, что советские рок-группы не были только одним из направлений отечественной музыкальной эстрады с какой-то своей эстетикой, но репрезентирова-

ли достаточно широкое социальное движение, сохранявшее преимущество на протяжении трех с лишним десятилетий и включавшее как музыкантов на сцене концертного зала или в студиях звукозаписи, так и их специфическую публику, в том числе (на своей периферии) тех, кто только слушал музыкальные радиопередачи или покупал диски<sup>19</sup>, как хорошо видно задним числом, в ретроспективе событий, этому социальному движению вполне может быть сопоставлена классическая «инновационная волна», то есть совокупность действий, которые направлены на достижение каких-то изменений в повседневной социальной рутине и организованы в соответствии с парадигмой развития конфликта, предполагающей его завязку, кульминацию и развязку («взлет и упадок»); понятно, что такое движение всегда ограничено во времени и после достижения желаемых перемен исчезает, будто его и не было никогда. Кроме того, даже весьма поверхностная и фрагментарная рефлексия о рациональности повседневного действия, объединявшей участников этого движения на протяжении всего указанного выше перио-

---

<sup>19</sup> Нужно, конечно, иметь в виду, что рок-группа не только специфический диспозитив шоу-бизнеса или кодифицированный формат интеракции между музыкантами и их публикой, это маркер долговременной, крупномасштабной и очень важной инновации, по своему значению вполне сопоставимой с политическими революциями начала прошлого века, по сути дела, тоже революции, сильно изменившей культуру, а вслед за ней и политические нравы самых разных обществ; вот почему аналитике советского государства вполне уместно предпослать экскурс в историю отечественных рок-групп и их специфической публики, то есть case study одного из очень важных эпизодов этого глобального процесса.

да, показывает, что ее «жестким ядром» была особого рода утопия, инвариантная самым разным идеологемам или социальным проектам, характерным для советского общества в послесталинский период, отечественные рок-группы и их публика тоже были своего рода попыткой воплощения этой утопии, только что в очень конкретной и оттого хорошо наблюдаемой форме.

\* \* \*

В самом начале и с чисто фактической стороны движение выглядело так: примерно в середине 50-х годов прошлого века, вскоре после смерти Сталина, в Москве, Ленинграде, их ближних окрестностях, а также, говорят, в некоторых других крупных городах Советского Союза вдруг появились молодые люди, которых отличала своего рода аддикция к американской танцевальной музыке, парадигмальные образцы которой демонстрировал фильм *Sun Valley Serenade* с оркестром Глена Миллера в главной роли. Эти молодые люди испытывали устойчивое и достаточно сильное желание слушать блюз или буги-вуги, испытывали дискомфорт, когда лишались такой возможности, и были готовы на многое, чтобы обладать беспрепятственным доступом к предмету своей страсти, а это и есть аддикция<sup>20</sup>, более того – нечто подобное

---

<sup>20</sup> Во всяком случае, действия такого молодого человека в ситуации, когда возникала перспектива обзавестись каким-нибудь «актуальным» диском, мало от-

происходило по всей Европе, советское общество не было исключительным случаем: музыка, привычно сопутствовавшая досугу американских военнослужащих, вдруг приобрела функцию святыни.

Тут нет никакого преувеличения: символы и практики, которые репрезентируют опыт «священного» в повседневной жизни, являются прежде всего результатом достаточно сильного и весьма специфического («нуминозного») аффекта, общего какому-то множеству индивидов и как бы превращающего их в единого действующего субъекта (*communio* в богословии раннего христианства, *duende* в дискурсе корриды и *cante flamenco*, условие *sine qua non* импровизации в искусстве и жизни). Как принято считать<sup>21</sup>, аффекты подобного рода, с которыми сегодня нетрудно столкнуться на футбольных матчах или рок-концертах, всегда могут быть конвертированы в символ или дискурс, публичная демонстрация которых, осуществляемая в формате какого-то общепринятого ритуала, в свою очередь, обеспечивает воспроизводство исходного трансперсонального аффекта, а вместе с ним и коллективной идентичности, которую этот аффект порождает (лат. *religio*, собственно, и означает состояние захваченности таким аффектом). Не случайно «там у них», в Западной Европе или США, именно рок-группы и их лидеры

---

личались от тех, какие в аналогичной ситуации предпринимает наркоман или же человек, страдающий тяжким похмельем, по себе знаю.

<sup>21</sup> Обзор литературы вопроса: Игнатъев А.А. Пять базовых концептов социологии и религии // Социологическое обозрение. 2014. № 1. С. 155–170.

стали инициаторами всякого рода неортодоксальных религиозных движений, как восточных, так и автохтонных<sup>22</sup>, тогда как «тут у нас» экстатические практики, связанные с новыми формами досуга и задним числом увековеченные идиомой «секс, наркотики, рок-н-ролл», стали рассматриваться как вполне реальная альтернатива «предметам веры», отсылающим к «светлому будущему» коммунизма. При желании, разумеется, такие практики вполне можно рассматривать как форму массовой психопатии, в лучшем случае – как синдром, обусловленный кризисом социальной рутины, однако до относительно недавнего времени психопатический опыт повсеместно рассматривался как частная форма религиозного, сегодня их также нередко рассматривают как альтернативные формы социализации первичного нуминозного аффекта, патологическую и успешную, не случайно тема исцеления занимает одно из центральных мест в нарративах самых разных религий.

Генезис этих новых форм досуга отнюдь не очевиден и заслуживает специального исследования, которое, сколько знаю, до сих пор не было предпринято, скорее всего, перед нами какая-то особая разновидность карго-культа, возникшего, предположительно, как следствие травматическо-

---

<sup>22</sup> Тернер С. Лестница в небо. Рок-н-ролл в поисках искупления: история рока и религии. М.: Триада, 2001. Связь между новой музыкальной культурой и опытом трансгрессии или даже непосредственно культовыми практиками хорошо заметна и тут у нас, однако этот феномен требует гораздо более основательной аналитики, нежели я могу себе позволить в данном сл у чае.

го опыта Второй мировой войны и послевоенной разрухи<sup>23</sup>, для советских людей по ряду причин оказавшегося в особенности тяжким. Тем не менее в данном случае гораздо более существенным является возникновение массового или, по крайней мере, достаточно распространенного спроса на «продукт», как теперь говорят, который был нешуточным вызовом не только отечественным, но и общеевропейским бытовым традициям. О характере и степени радикальности этого вызова можно судить по таким отечественным фильмам, как приснопамятная «Карнавальная ночь», появившаяся на экранах страны в самый канун нового 1957 года, или же «Взрослые дети» 1961 года, в которых наглядно показана роль этой новой музыки как маркера социальной границы между поколениями и, соответственно, фокальной точки их конфликтов, чем бы они ни были вызваны и кто бы в них ни был прав. В более широком контексте изменений или конфликтов, связанных с XX съездом партии, маркеры социальных границ между поколениями приобретали значение идеологических и политических символов конфликта между «архаистами» и «новаторами», то есть группами населения, стремящимися изменить status quo и пытающимися его сохранить, вследствие чего новая музыка стала рассматриваться как симптом реально опасного вызова сложившемуся образу жизни в целом, это значит непосредственно или

---

<sup>23</sup> См., в частности: Jeffrey C. Alexander. *Trauma. A Social Theory*. Cambridge: Polity Press, 2012.

в конечном итоге тоталитарному политическому режиму<sup>24</sup>. Такая установка, присущая далеко не только сотрудникам спецслужб или функционерам партии, но и значительному числу «простых» советских людей, объясняет, почему вполне естественное, в сущности, желание молодежи слушать музыку, которая нравится, или танцевать, одеваться и причесываться так, как того требует мода, вызвало к жизни конфликт, сначала разделивший, а потом и разрушивший советское общество.

На самом деле, разумеется, никакой специально антисоветской «идеологической диверсии», как говаривали в прежние времена, тут не было, скорее наоборот – это был первый заметный пароксизм изменений, охвативших практически все без исключения общества modernity, независимо от характера их политического режима или экономического уклада, и в конечном итоге основательно преобразивших эту специфическую цивилизацию: не случайно во второй по-

---

<sup>24</sup> Во всяком случае, такое можно было достаточно часто услышать от «работников идеологического фронта» или встретить на страницах газет, а вышучивать подобные максимы тогда еще не рисковали. Примерно ту же точку зрения уже в наши дни пародирует К. Шахназаров в фильме «Город Зеро» или «на полном серьезе», как говаривали в прежние времена, предлагает В. Тодоровский в фильме «Стиляги». Задним числом даже возникает смелая, но вполне правдоподобная догадка, что экстатические состояния, вызванные музыкой, танцем, флиртом и алкоголем (наркотиков тогда практически никто не употреблял, считалось «западло»), начальство от идеологии рассматривало как вполне реальную альтернативу «светлому будущему» коммунизма. Сегодня не исключаю, что они были правы.

ловине XX века идентификация с рок-сценой и ее звездами стала выполнять примерно ту же самую функцию, какую прежде выполняло отношение к международному коммунистическому движению или же ссылка на его лидеров. Тут у нас эти изменения начались примерно тогда же, что и там у них, их инициаторами или «заинтересованной публикой» были представители того же самого поколения (первая отечественная рок-группа Revengers появилась в том же 1961 году, что и пресловутые The Beatles, как и те – в портовом городе, только что это была Рига, а не Ливерпуль), а если дальнейшее развитие событий заметно отличается как по сценарию, так и по достигнутому результату, то здесь решающую роль, безусловно, сыграли различия между обществами, где протекали соответствующие инновационные процессы<sup>25</sup>. Там у них юные любители блюза и рок-н-ролла были практически сразу же опознаны как своего рода «клондайк», то есть принципиально новый рынок, обладающий практически неограниченным потенциалом развития, следствием этого явилась не только трансформация шоу-бизнеса в доходную и высокотехнологичную индустрию, каким мы его знаем сегодня, но и наделение рок-группы теми же функциями общедоступного «социального лифта», каким, например, несколькими столетиями прежде было мореплавание,

---

<sup>25</sup> Для всякого рода процессов on the edge of science это, пожалуй, даже общее правило: существенные открытия делаются практически одновременно в разных странах, но вот их дальнейшую судьбу определяет контекст, дружественный к инновациям в одних случаях и враждебный в других.

а совсем уже в недавнем прошлом – разработка цифровых технологий и гаджетов; в результате там у них изменения, связанные с формированием post modern обществ, с самого начала оказались «массовым забегом», а их субъектом – наиболее одаренные и амбициозные представители молодого поколения.

Напротив, тут у нас такая же самая публика была опознана как социальная патология, а ее специфические вкусы и пристрастия – как форма отклоняющегося поведения<sup>26</sup>, это обстоятельство, разумеется, не остановило изменений, о которых тут речь, однако существенно их замедлило, а глав-

---

<sup>26</sup> Такого рода эффект торможения и стигматизации перемен нетрудно проследить по тексту данной главы: концептуализация предмета, которая здесь предложена, сформировалась еще в самом начале 90-х, главным образом в результате сотрудничества с московской рок-лабораторией, а затем во время трехмесячного постдока в Чикаго, об этом свидетельствует возраст цитируемой зарубежной литературы. Тем не менее интеллектуальный контекст, позволивший эту концептуализацию «довести до ума» и опубликовать, тут у нас сложился только сейчас, прежде на подобного сорта аналитику попросту не было запроса, в академических кругах по крайней мере. Что особенно интересно, консервативная или даже сугубо негативная установка по отношению к инновациям, в том числе или даже прежде всего интеллектуальным, как правило, вполне успешно сочеталась с восприятием «Запада» как их привилегированного источника – например, однажды мне довелось услышать отзыв о рукописи, которая была представлена в ежегодник «Системные исследования», звучавший примерно так: «Если бы это не было полным вздором, что-нибудь подобное давно бы уже было опубликовано там у них». Кому недостаточно многочисленных личных свидетельств, может посмотреть давний отечественный телесериал «Визит к Минотавру» или, еще лучше, некогда культовый фильм Easy Rider, там эту точку зрения отстаивают вполне узнаваемым и, так сказать, практическим образом, битой по голове.

ное – вытеснило на социальную периферию общества, в результате движущей силой этих изменений стали маргиналы, а их предпосылкой – различные «теневые» или даже непосредственно криминальные практики. Самая популярная из таких практик – подпольная торговля «привозными» дисками, изготовленными где-нибудь в метрополиях новой культуры, или кустарными записями «на ребрах», которая осуществлялась «из-под полы» на так называемых «толкучках», то есть нелегальных рынках, один из таких рынков, некоторым образом проход в «иной мир», располагался на Лубянской площади, как раз на том месте, где теперь лежит камень памяти жертв политических репрессий, это совпадение, конечно, но достаточно красноречивое. Конечно, в советском обществе стигматизация или даже криминализация отдельных конкретных форм потребления, в том числе востребованных, не были чем-то исключительным, «толкучка» и ее специфические практики входили в повседневную социальную рутину, отсюда многие характерные особенности позднейших реформ, все эти обстоятельства не могли не повлиять и на стратегию изменений, маркером которых были отечественные рок-группы или их публика, а соответственно – на их перспективу.

Прежде всего, сами эти ограничения и запреты, с которыми сталкивались приверженцы новомодной музыки, были классическим образцом того, что называется «плевать против ветра»: первоначально за ними не было ничего, помимо

когнитивной и аффективной дистанции между поколениями, которая существует всегда, но становится особенно заметной в ретроспективе массовой социальной травмы, связанной с крупномасштабными социальными реформами, военными действиями или эпидемиями и катастрофами, в том числе экономическими кризисами, это их неизбежный побочный эффект. В данном случае все эти обстоятельства были налицо, но если одна сторона конфликта рассматривала дистанцию между поколениями как опасную идеологическую или даже политическую девиацию, объясняя ее посредством классической теории заговора», там у них с такой же беззаветной готовностью, что и тут у нас, только что в разных политических контекстах<sup>27</sup>, то другая воспринимала эту дистанцию как нечто само собой разумеющееся, своего рода явление природы, в лучшем случае – результат глобального массового процесса, а не произвольного личного выбора, который можно вменить как предмет нравственной или правовой оценки. Коротко говоря, первоначальный конфликт между идеологическими ортодоксами и приверженцами новомодной музыки был чистой воды *qui pro quo*, недоразумением, за которым не было ничего, кроме нарциссическо-

---

<sup>27</sup> Разница тут, конечно, не в терпимости к инакомыслящим (там у них она ничуть не выше) и не в наличии или отсутствии сакрального смысла у национальных политических символов, а в признании или непризнании границы между публичным и приватным: в советском обществе она практически отсутствовала или всегда могла быть поставлена под вопрос.

го самодовольства одних и наивного максимализма других<sup>28</sup>, однако по мере его обрастания запретами, стигматизирующими ярлыками и сценариями репрессий позиция властей стала рассматриваться как чистый произвол или даже вздорный каприз, а это и есть важнейшая исходная предпосылка обращения к «теневым» практикам.

Речь в данном случае идет о практиках, которые *de jure* являются нарушением сложившегося обычая, легитимного распоряжения властей или даже писаного закона, однако *de facto* наделены особым правовым статусом, не предполагающим уголовного преследования, или даже как бы остаются вне поля зрения правоохранительных органов – при соблюдении известных условий, разумеется. В социологии такого рода условия определяют как «делинквентный дрейф», обозначая этим понятием стратегии и диспозитивы повседневного действия, нейтрализующие как чисто технические возможности социального контроля, надзора прежде всего, так и его субъективные предпосылки, в первую очередь – развитие аффектов вины или стыда; и тут у нас, и там у них такого рода стратегии и диспозитивы стали заметным социальным явлением именно в 60-е годы<sup>29</sup>, то есть непосред-

---

<sup>28</sup> Отсюда перманентное «объяснялово», характерное для тогдашних «новаторов» или их публики и в значительной степени предвосхитившее текстуально-изобразительный дуализм концептуального искусства.

<sup>29</sup> Именно в это время социология отклоняющегося поведения переживает одну из наиболее важных концептуальных революций: Wolfgang M.E., Savitz L., Johnston N. (eds.). *The Sociology of Crime and Delinquency*. N.Y.-L.: Wiley, 1962;

ственно в контексте перемен, о которых речь в данной статье, и даже в самой тесной связи с ними. Более того, в реальном социальном контексте «коммунистического строительства», сложившемся к началу 60-х годов, обращение к «теневым» практикам и их уклончивому дискурсу оказалось вполне жизнеспособным компромиссом между «форматом», который диктовала идеология, и «контентом», которого требовала повседневная жизнь; именно поэтому субкультура, в просторечии именуемая *underground*, надолго стала необходимой исходной предпосылкой инноваций в образе жизни, экономике или даже политике, это объясняет многое из того, что мы наблюдаем сегодня<sup>30</sup>. Такого рода процессы, с одной стороны, обусловили формирование весьма специфических представлений о желаемом будущем, будь то потребление или творчество, как о легализации *de jure* рискованной и достаточно ограниченной, но вполне реальной свободы, которой участники движения обладали *de facto*<sup>31</sup>, а с другой –

---

Matza D. *Delinquency and Drift*. N.Y.: Wiley, 1964. Что интересно, примерно в это же время К. Шмитт публикует работу «Теория партизана», посвященную практически тому же кругу феноменов, но в проекции на политические контексты.

<sup>30</sup> Отсюда исключение термина «рок-музыка» из публичных контекстов, примерно как сейчас обценной лексики: как бы предполагалось, что это просто такая современная зарубежная эстрада, туземные поклонники которой – такая же советская молодежь, что и все прочие, но, так сказать, «с перламутровыми пуговицами».

<sup>31</sup> Отсюда, полагаю, вялотекущая и диффузная, однако весьма радикальная смена парадигмы в отечественной социологии – поворот к «этнометодологии» Г. Гарфинкеля и творчеству Э. Гофмана, наметившийся как раз в этот период.

очень сильно ограничили их притязания на статус и, так сказать, миссию в культуре.

На самом деле, конечно, перемены в технологиях или образцах поведения, понятиях и ценностях – по большей части результат заимствований, действительно оригинальные инновации (колесо, например, алфавит или нотная запись) встречаются редко, поэтому для нас в данном случае важно прежде всего то, каким именно образом, при посредстве каких социальных практик осуществляется социализация «чужого», то есть включение заимствований в общепринятую социальную рутину. Тот факт, что в советском обществе перемены, которые мы обсуждаем, как, впрочем, и многие другие, осуществлялись при посредстве «теневых» социальных практик, имел множество последствий: с одной стороны, обращение к таким практикам заметно ослабило или даже отчасти блокировало конфликт между «архаистами» во власти и «новаторами» в сфере популярной музыки<sup>32</sup>. Это обеспечило не только пролиферацию движения, но и его консолидацию вокруг вполне достижимых, как тогда не без основания казалось, целей; на практике – появление общепринятой и понятной «модели успеха», то есть стратегии потребления (для широкой публики) или профессиональной карьеры (для музыкантов прежде всего, но не только), которая

---

<sup>32</sup> Тут трудно не вспомнить молодого Высоцкого, который стал знаменитостью как раз в это время: «Сны про то, как выйду, как замок мой снимут, как мою гитару отдадут...»

вполне сложилась уже к исходу 60-х годов. С другой стороны, эта же стратегия заметно ограничивала как потенциал движения в целом, так и личные притязания его отдельных участников: предполагалось, что распространение заимствований будет проходить под неусыпным контролем партии, а его результатом станет адаптация соответствующих идеологических клише к реальности современного большого города; на практике это означало, что рок-музыка наделяется статусом развлечения, допустимого только в ситуациях частного досуга (например, в ресторане, на танцплощадке, лучше даже пригородной, или вовсе на вечеринке у себя дома), но отнюдь не на «большой сцене» или тем более экране центрального телевидения, где соответствующие артефакты и их создатели появились только четверть века спустя. Такого рода стратегии включения новшеств в социальную рутину или коллизии, которые с ними связаны, отнюдь не новость, им посвящено множество публикаций, маркированных как *post-colonial* или же *subaltern studies*<sup>33</sup>, к сожалению, сколько-нибудь внятный и корректный синопсис результатов, полученных в данной области, требует выхода да-

---

<sup>33</sup> Для тех, кому прежде не выпадало случая работать с понятиями «колониализм» или «пост-колониальный синдром», укажу несколько работ, которые вполне можно рассматривать как представительное введение в проблематику: Глостанова М. Деколониальные гендерные эпистемологии. М.: ИПЦ «Маска», 2009; Scott J.S. *Domination and the Art of Resistance. Hidden Transcripts*. New Haven-L.: Yale Univ. Press, 1990; Deetz S.A. *Democracy in the Age of Corporate Colonization. Developments in Communication and the Politics of Everyday Life*. Albany: State Univ. N.Y. Press, 1992.

леко за границы моего предмета, поэтому далее будут кратко рассмотрены только наиболее существенные издержки «теневых» практик.

Прежде всего, «теневые» практики социализации «чужого» неизбежно исключают любые «конститутивные» формы социального признания, когда вознаграждение за достигнутый результат, в данном случае, например, статус музыканта или перспективы его карьеры, определяет прежде всего соответствие этого результата каким-то объективным и универсальным критериям, а не чьему-либо партикулярному личному мнению, пусть даже сколько угодно просвещенному и авторитетному; наличие таких критериев, то есть институционализация экспертизы, собственно говоря, и конституирует профессию в ее отличии от коллектива наемных работников или клиентелы, где такая функция всегда персонифицирована. В случае «теневых» практик, напротив, идентификация достигнутого результата осуществляется в «континджентном» режиме<sup>34</sup>, то есть непременно является предметом конфликта между индивидом, претендующим на успешное осуществление какого-то своего проекта, и представителем «властей предрержащих», ответствен-

---

<sup>34</sup> Collins H.M., Pinch T.J. The construction of paranormal: nothing unscientific is happening // *On the Margins of Science: The Social Construction of Rejected Knowledge*. Keele: Univ. Keele Press, 1979. P. 237–270. В первом случае признание осуществляется как «экзамен», то есть проверка на соответствие каким-то заранее известным тестовым критериям, во втором – как «поединок», то есть конфликт в плохо структурированном и динамичном контексте.

ным за осуществление функций надзора и контроля («смотрящим»), как эту персону именуют в криминальных кругах); важнейшим из факторов, определяющих вознаграждение, статус и перспективу карьеры, становится уже не уровень достижений, оцениваемых публично и «по гамбургскому счёту», а всякого рода частные negotiations, это значит – корпоративные, дружеские и родственные «повязки» или даже коррупционные связи между музыкантами, производителями записей или их потребителями, с одной стороны, и конкретными субъектами господства, например чиновниками соответствующего ведомства<sup>35</sup>, с другой. Все это не только размывало границу, отделяющую «профи» от любителя, смелый вызов традициям – от обычного бытового хулиганства, а коррупцию – от легитимных форм оплаты труда<sup>36</sup>, но и способствовало дифференциации движения на два потока, связанные друг с другом очень сложными отношениями: «радикалов», для которых исходный предмет заимствованный так и остался святыней<sup>37</sup>, и «конформистов», которые не

---

<sup>35</sup> Могу об этом свидетельствовать как филофонист со стажем: в советское время любая серьёзная домашняя фонотека предполагала либо регулярные зарубежные командировки, что само по себе было статусной привилегией, либо какого-нибудь близкого человека, родственника или приятеля, который такой привилегией обладал.

<sup>36</sup> Строго говоря, для рок-группы, причем не только тут у нас, такая граница плохо определена до сих пор.

<sup>37</sup> Тут кстати вспомнить питерский неофициальный музей группы The Beatles и его создателя.

без успеха пытались адаптировать достижения «культовых» зарубежных рок-групп к идеологическим и вкусовым предпочтениям советских элит; итогом такого рода гибридизации стал формат «вокально-инструментального ансамбля», который обеспечивал идеологическую безупречность того, что звучало на сцене<sup>38</sup>, одновременно предполагая, как залог профессиональной состоятельности музыкантов, их реальное владение новой музыкальной культурой.

Тем не менее, несмотря на все эти неудобства и особенности, «теневые» практики обеспечивали достаточно хорошо структурированную перспективу социального признания и карьеры как перемещения в сети межличностных отношений зависимости («повязок», как принято их называть в определенных кругах), которые соединяют между собой индивидов, занимающих позиции с разным интерактивным статусом и разными функциями. В самом первом приближении эта перспектива карьеры выглядела примерно так: однажды в доме тинейджера, уже получившего какую-то локальную известность как музыканта (для конкретности пусть это будет гитарист, самая востребованная специальность в

---

<sup>38</sup> Одним из косвенных, но в перспективе очень важных следствий такого порядка заимствований стала их сначала принудительная, а позднее и вполне добровольная русификация, которая отразилась как на текстах, так и (в меньшей, конечно, степени) на музыкальной форме. Полагаю, впрочем, что отчасти этот эффект связан с распространением английских школ, в результате которого английский язык постепенно утратил статус иногo и странного (сейчас, говорят, аналогичным статусом обладают тюркские языки).

данной области), раздавался телефонный звонок, приятель несколько старше возрастом приглашал его взять свой инструмент и приехать в некое специальное место, в прежние времена такое место именовали «салон». Обычно это был загородный дом где-нибудь в «элитных» дачных поселках или же просторная частная квартира, расположенная в престижном районе, но могло быть и помещение какого-нибудь ресторана или кафе, где музыканта знакомили с неким господином зрелого или даже пожилого возраста, по статусу – почетного гостя или в этом роде, а по виду и манерам – из тех, кого называют «ответственные товарищи»; по результатам прослушивания музыканта либо отбраковывали вовсе, что случалось не так уж часто, либо включали в своего рода «кадровый резерв», то есть в круг тех, кто заслуживает поддержки, в дальнейшем либо продвигая в состав какой-то уже существующей рок-группы, либо помогая создать и продвигать новую<sup>39</sup>, тем самым обеспечивался успешный start-up<sup>40</sup>, а это наиболее трудная стадия любой карьеры. Такого рода сценарий, хорошо узнаваемый каждым, кто наблю-

---

<sup>39</sup> В данном случае подразумевается вполне реальная биография одной из «звезд» современной отечественной рок-сцены, однако она в достаточной степени типична и вполне может рассматриваться как парадигмальный образец карьеры.

<sup>40</sup> Фабрика звезд, то есть программа на одном из федеральных телеканалов, существовавшая уже в «нулевые» годы, по сути дела, только имитировала эту стереотипную практику. Сходная практика, склонен думать, существовала и в других областях «неофициального» искусства, но это круг феноменов, о котором я не вправе судить – не мой предмет, и вообще.

дал за процессом формирования какой-нибудь отечественной рок-группы и ее последующей эволюцией<sup>41</sup>, предполагает по меньшей мере пять характерных интерактивных ампула, зависимости между которыми в совокупности образуют центральносимметричный перформативный контекст любой творческой карьеры: «герой», являющийся субъектом этой карьеры, «селекционер», осуществляющий мониторинг всякого рода площадок, где водятся «юные дарования», а также предварительную оценку шансов на социальное признание, которым обладает будущий музыкант с его специфическим «проектом», далее «инвестор», обладающий политическими и финансовыми ресурсами, необходимыми для поддержки музыканта и продвижения соответствующего проекта, «хозяйка салона», то есть площадки, на которой происходит встреча всех перечисленных действующих субъектов, обычно это женщина «со связями», которая организует встречу, выполняет функции эксперта и кри-

---

<sup>41</sup> В данном случае я опираюсь на результаты исследования, выполненного совместно с В. Ма-рочкиным и посвященного одной из наиболее заметных «семей» отечественного шоу-бизнеса. По разным уважительным причинам эти результаты не могут быть опубликованы, однако сценарий, реализованный при моем собственном поступлении в аспирантуру, мало отличался от неформального закулисного кастинга (ключевым событием было собеседование с покойным Леном Карпинским у него дома на Зубовском бульваре), более того – склонен думать, что пресловутый «эффект Матфея» является следствием такого же сорта практик. Карьера потребителя (например, меломана-филофониста) выстраивалась по очень похожему сценарию, только что критерии селекции претендентов на членство в сообществе были несколько иными.

тика, а также обеспечивает успешные negotiations с «хозяевами жизни» различного сорта и уровня, наконец, «заинтересованная публика» в лице этих самых господ, осуществляющих патронаж над сферой культуры, или, по крайности, их доверенных лиц<sup>42</sup>. Это, конечно, только схема, которая заметно упрощает сценарий, реально наблюдаемый в биографии отдельных конкретных музыкантов, однако она вполне адекватно моделирует специфический ролевой комплекс, обеспечивавший эффективное заимствование «чужого» в условиях идеологического диктата, практики рекрутинга и социализации новичков, сложившиеся в «теневых» перформативных контекстах, а также необходимые исходные условия карьеры, которые ими диктуются.

При всей той заслуженной критике, которая высказана в адрес «вокально-инструментального ансамбля» как формулы компромисса между новой музыкальной культурой и советскими идеологическими клише, надо признать, что этот компромисс оказался достаточно эффективным: прежде всего, он обеспечил не только саму по себе пролиферацию движения, что уже немало, но и достижение его глав-

---

<sup>42</sup> По ходу исследования наши с В. Марочкиным информанты охотно рассказывали о «героях» и «селекционерах», то есть о себе самих, были немногословны и даже весьма осторожны, рассказывая об «инвесторах», о хозяевах «салона» удавалось узнать только случайно и на стороне или из личного опыта, а вот персоны «смотрящих» и даже самый факт их существования так и остались домыслом (гипотезой, если угодно). В наши дни какие-то функции «салона» перешли к социальным сетям в интернете, но это ничего не меняет.

ной цели – реальный, пусть и ограниченный, перенос заимствований на отечественную сцену, более того – их превращение в своего рода перформативный канон, разделяемый не только «истинно верующими» участниками движения, как десятилетием раньше, но и музыкантами с основательной академической выучкой<sup>43</sup>. В результате на отечественной эстраде произошла смена поколений, которая была хорошо заметна даже не очень внимательному наблюдателю<sup>44</sup>. Кризис, как это часто бывает, подкрался незаметно и совсем не с той стороны, откуда его ждали: в результате процессов, которые называют «глобализация», существенно изменился сценарий профессиональной карьеры. Если прежде, в 50-е годы и ранее, карьера музыканта или даже артиста вообще складывалась почти исключительно благодаря выступлениям на родине, в то время как зарубежные гастроли оставались «бонусом», который подтверждает и даже как бы объективизирует достигнутый профессиональный статус, но не влияет на него сколько-нибудь заметно, то теперь, к середине 70-х, зарубежные гастроли, то есть признание в метрополиях

---

<sup>43</sup> Примером тут может служить альбом композитора Давида Тухманова «По волнам моей памяти», выпущенный фирмой «Мелодия» в 1976 году и в определенных кругах даже ставший недостижимым образцом успешного музыкального проекта.

<sup>44</sup> Изменились, притом заметно, не только обоймы имен, лица или костюмы, но и та «фоновая» музыка, которую можно было случайно услышать по радио, целое поколение далеко не бесталанных артистов было вынуждено до времени покинуть сцену и либо заняться преподаванием, либо вовсе отказаться от продолжения карьеры.

новой музыкальной культуры и, так сказать, международная конвертация статуса<sup>45</sup>, наоборот, стали условием *sine qua* поп успешной карьеры, тогда как «невыездной» музыкант сделался фигурой, поддержка которой заведомо лишена смысла. Между тем, как известно, для советских граждан выезд за границу, в особенности туда, где реально складывалась профессиональная репутация артиста, то есть происходило его социальное признание, не был предметом свободного личного выбора, право на такой выезд надо было заслужить<sup>46</sup>. Более того, это была редкая и весьма ценная привилегия, которой не мог обладать «кто попало»: музыканту без родословной и связей, пусть даже сколько угодно талантливо-му, или тем более всякого рода богеме на такое право рассчитывать не приходилось. Вот почему самые честолюбивые и радикально настроенные представители движения начали «уезжать», как тогда говорили, используя главным образом

---

<sup>45</sup> Сколько знаю, «звезда» довоенной отечественной эстрады Изабелла Юрьева вообще никогда не бывала на гастролях за границей, думаю, кроме России, о ней нигде ничего не знали, однако это никак не сказывалось на ее профессиональном статусе. В послевоенный период, напротив, даже безусловно успешные The Beatles приобрели статус культовой рок-группы только после гастролей в США, примерно такого же рода изменения произошли и в науке, притом не только советской, где статус «выездного ученого» вообще стал едва ли не важнейшей исходной предпосылкой успешной карьеры.

<sup>46</sup> Слово «заслужить» тут, конечно, не самое подходящее: предельным основанием права на выезд было персональное решение «смотрящего», которое всегда принималось как результат очень сложных negotiations, в ходе которых учитывались не только личные качества претендента или его репутация, но и всякого рода «повязки», в том числе родственные связи.

право на эмиграцию в порядке воссоединения семей<sup>47</sup>, которое в это самое время было предоставлено советским евреям.

На самом деле, конечно, тут следовало бы вернуться к событиям так называемой Пражской весны, то есть попыткам экономических и политических реформ в странах «соцлагеря», а также их насильственному пресечению в августе 1968 года: какими бы уважительными ни были причины действий советского руководства, на практике они означали (и постепенно это стало очевидно), что отныне и впредь компромиссы между «ортодоксами» во власти и «диссидентами» от идеологии, экономики или, как в данном случае, культуры недопустимы; в таком контексте право на эмиграцию, которое получили некоторые группы населения (евреи, армяне, немцы), свидетельствовало не столько о либерализации «режима», сколько о его стремлении выполнить «большую зачистку» общества, не прибегая к открытым и массовым политическими репрессиям<sup>48</sup>. Такая «нормализация»

---

<sup>47</sup> Собственно, эмиграция «по еврейской визе», как и более экзотические формы выезда за границу, появившиеся в этот период (высылка диссидентов, например), были такими же самыми «теневыми» практиками, как и любая другая стратегия уклонения от идеологического диктата, практиковавшаяся в советском обществе: «родственники за границей» сплошь и рядом были юридической фикцией, их приглашение вполне могло быть «проплачено», как теперь говорят, или же вовсе организовано спецслужбами, более того – об этом знали все, кому было интересно, что отнюдь не мешало трактовать расхожие социальные конструкты как реальность.

<sup>48</sup> На такой мотив недвусмысленно указывает анекдот, получивший хождение

общества достигалась разными средствами: кого-то отправили в «дурку» или «на зону», тех, кому было куда, вынудили уехать, для остающихся же учредили достаточно жесткие формы надзора и контроля, вследствие чего бывшие «теневые» стратегии достижения и поддержания компромисса, а вместе с ними кастинга, продвижения или финансовой поддержки инакомыслящих (в том числе музыкантов) оказались востребованы в гораздо большей степени, нежели прежде. Если в 60-е годы отечественные рок-группы, как правило, устраивались в «дырах» законодательства, регулирующего подобного рода деятельность, благо их хватало <sup>49</sup>, то теперь они вынуждены были обращаться за регистрацией в госорганы, согласовывать с ними репертуар, «литовать» тексты песен, наконец, жить на зарплату, для начисления которой, собственно, и был придуман термин «вокально-инструментальный ансамбль»; справедливости ради надо отметить, что взамен была предложена внятная и унифицированная

---

как раз в 70-е годы: согласно анекдоту, отказ от расстрелов за антисоветскую агитацию объясняется тем, что кончились патроны (практики «красных кхмеров» или времен Гражданской войны, когда массовые экзекуции проводились, так сказать, вручную, все-таки считались эксцессом).

<sup>49</sup> Где-то до середины 70-х годов отечественные рок-группы существовали главным образом на правах клубной самодеятельности или вообще за пределами кодифицированного права, это обстоятельство, конечно, не только вынуждало музыкантов всячески «шифроваться» или обходиться «самопальной» аппаратурой достаточно низкого качества, но и весьма чувствительно ограничивало те возможности социального признания, которыми они располагали на практике, это значит – перспективы их заработка и профессионального роста.

процедура исполнения всех этих требований, типовые социальные гарантии, а также некоторое приподнятое «железного занавеса», хорошо заметное даже рядовым потребителям записей. Как это часто бывает, однако, когда законодатель вступает в конфликт с достаточно обширным и социально активным контингентом, попытка навести порядок на отечественной эстраде обернулась своей противоположностью: «неправильные» индивиды или образцы поведения, понятия и ценности не исчезли, а послужили основанием для возникновения «черного рынка» кадров, товаров и услуг<sup>50</sup>, то есть формирования структур, так сказать, параллельных государственной власти.

Надо заметить, что к исходу 70-х подобного рода процессы и тенденции стали характерной отличительной чертой советского общества вообще, а не только окрестностей туземной музыкальной эстрады: коммунистическая идеология, плановое народное хозяйство, эгалитарная юстиция и прочая «надстройка» превратились в декорацию, за которой пряталась очень сложная система «черных рынков», то есть

---

<sup>50</sup> Так, например, в Москве различного сорта «толкучки» существовали всегда, однако в 70-е годы они становятся элементом достаточно сложной «частно-государственной» инфраструктуры, агенты которой действовали если не вполне легально, то, во всяком случае, открыто: все, кому было нужно, знали или всегда могли узнать, где, как и за сколько можно купить новый диск, достать нужную книгу, раздобыть модную одежду, лекарство, которого нет и не бывает в аптеках, запчасти для автомобиля, билеты в театр или на концерт и многое, многое другое, в фильмах 70-х годов сцены, позволяющие увидеть, как это выглядело на практике, даже стали общим местом сценария.

сеть межличностных и межклановых «повязок», охватывавшая практически все сколько-нибудь значимые области повседневной социальной активности. Именно тогда, в связи с этим специфическим опытом, сделалось хорошо заметным сходство местных порядков с колониальными, сначала увекоченное в присловье «жить как белый человек», на пару десятилетий вперед определившее ценности отечественного «среднего класса», а затем, уже в наши дни, послужившее отправным пунктом нетривиальной и весьма перспективной программы исследований в области социологии политики<sup>51</sup>. Более того, как раз тогда сформировался устойчивый массовый запрос на харизматическое лидерство<sup>52</sup>, предвещавший, как мы теперь хорошо понимаем, глубокий и всесторонний политический кризис, или, на другом уровне, началось вялотекущее и диффузное вырождение профессий в корпорации, клиенты и другие закрытые сообщества, то есть социальный процесс<sup>53</sup>, с которым уже в наши дни связывают

---

<sup>51</sup> См., в частности: Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: НЛО, 2013. Собственно, «черный рынок», организованная преступность и другие подобные новообразования – классические стратегии адаптации общества к условиям тоталитарного, оккупационного или колониального режима. Постколониальные социальные контексты и практики формируются именно по их образцу.

<sup>52</sup> Во всяком случае, о реальности широкого и устойчивого запроса на харизматическое лидерство, какое-то время и отчасти даже поощряемого «сверху», свидетельствуют такие отечественные фильмы, как «Председатель» с Михаилом Ульяновым или «Коммунист» с Евгением Урбанским в заглавных ролях.

<sup>53</sup> На мой взгляд, этот процесс вполне можно рассматривать как обратный то-

развитие коррупции и падение компетенции в таких областях, как педагогика, медицина и юстиция. Тот же процесс формирования корпораций и клиентел вокруг лидеров, обладавших заметной харизмой, протекал и в окрестностях нашей местной эстрады<sup>54</sup>. Этот процесс очень сильно повлиял на современные практики отечественного шоу-бизнеса (как, впрочем, и бизнеса вообще), он вполне успешно объясняет превратности судьбы, которые в начале 80-х испытали некоторые теперешние «звезды», тем не менее порядки и стратегии «черных рынков», к деятельности которых прямо или косвенно был причастен каждый советский человек, исследованы очень плохо, мы и вправду по сей день живем в обществе, которого не знаем.

Чуть лучше исследованы порядки и стратегии, связанные с различного типа субкультурами, то есть сообществами, которые практикуют образцы поведения, понятия и ценности, заметно отклоняющиеся от общепринятых; для советского общества такого рода структуры и практики не были совсем уже новостью<sup>55</sup>, однако к исходу 70-х они приобретают новое

---

му, который М. Фуко описывает в своей книге «Рождение клиники», его перспективную, хотя и не бесспорную, аналитику см.: Кордонский С. Г. Рынки власти: Административные рынки СССР и России. М.: ОГИ, 2006; Сословная структура постсоветской России. М.: ФОМ, 2008.

<sup>54</sup> См., в частности: Георгий Осипов. Леди Соул мертвых душ // Известия. 23 апреля 2014 г.

<sup>55</sup> Так, например, в советском обществе издавна присутствовали субкультуры инвалидов и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Нередко можно было натолкнуться на около-криминальные сообщества, прежде всего субкульту-

качество, претендуя не столько на защиту делинквентов от идеологического диктата или надзора и социального контроля вообще, как это было прежде<sup>56</sup>, сколько на артикуляцию и пролиферацию какого-то альтернативного социального порядка со своими особыми идентичностями или критериями оценки и практиками наделения статусом<sup>57</sup>. Раньше других, еще где-то в начале 70-х, появились хиппи, которые для постороннего взгляда долгое время оставались неотличимы от обычной артистической богемы, благо по внешнему виду (американизированный джинсовый «прикид», длинный «хер»), бытовым привычкам и характерному «антибуржуазному» дискурсу эти два сообщества не сильно отличались друг от друга<sup>58</sup>, на персональном уровне в значительной степени

---

туры нищих. Местами на какое-то время возникали субкультуры мигрантов, получившие такое широкое распространение уже в «нулевые» и «надцатые» годы нынешнего века. См., в частности: Бутовская М.Л., Дьяконов И.Ю., Ванчатова М.А. Бредущие среди нас. Нищие в России и странах Европы, история и современность. М.: Научный мир, 2007.

<sup>56</sup> О технике подобного рода защит см., например: Hebdige D. *Subculture: The Meaning of Style*. L.-N.Y.: Routledge, 1987; *Hiding in the Light. On Images and Things*. L.-N.Y.: Routledge, 1988.

<sup>57</sup> Тут кстати вспомнить Б. Гребенщикова, который в интервью некоему зарубежному журналу объяснял выбор названия для своей рок-группы примерно так: «Мы как рыбы в аквариуме: живем на виду у всех, но в среде, принципиально отличной от окружающей». Такая же претензия хорошо заметна и в фильме Сергея Соловьева «Асса», где, кстати, взаимопроницаемость субкультур и сообществ «черного рынка» представлена как нечто само собой разумеющееся, факт местного повседневного опыта.

<sup>58</sup> О субкультуре хиппи см., в частности: Щепанская Т.Б. Система: Тексты и

пересекались, а главное – местные хиппи, в отличие от своих зарубежных «соплеменников», всячески избегали «светиться», то есть появляться в поле зрения медиа, властей, широкой публики или других субъектов «публичной сферы», несколько позднее, уже к концу декады, появились панки и «металлисты», которые отличались от хиппи не только своим внешним видом, но и достаточно агрессивным хабитусом, а также очевидными и вполне эффективными притязаниями на публичные интерактивные амплуа. Как и субкультуры 60-х, хиппи, панки и «металлисты» представляли собой контингентные сообщества молодежи, которую отличала своего рода аддикция к инокультурным образцам поведения, идеологемам и ценностям, превращавшая их в особого рода святыни<sup>59</sup>, как и старшее поколение «новаторов», новые субкультуры рассматривали определенного рода музыку в качестве очень важного социального идентификатора<sup>60</sup>, а тех, кто ее исполнял, – как образец для подражания или даже культовую фигуру, однако предметом заимствования были уже не формы развлечения и досуга, как прежде,

---

традиции субкультуры. М.: ОГИ, 2004.

<sup>59</sup> См., в частности: Yinger J.M. Presidential Address: Countercultures and Social Change // *American Sociological Review*. 1977. Vol. 42. P. 833–853.

<sup>60</sup> Как мне рассказывали, практики знакомства с новым человеком на «площадке» обычно начинались с вопроса «что слушаешь?», то есть какая именно рок-группа, музыкант, альбом или даже конкретная пьеса может быть указана как артикуляция идентичности в дискурсе, последующее развитие отношений, как правило, очень сильно зависело от полученного ответа, который рассматривался как своего рода пароль.

а специфический образ жизни в целом, чьи парадигмальные образцы демонстрировал уже упоминавшийся ранее фильм *Easy Rider*, знакомство с этим фильмом и его название даже как бы стали паролем.

При всем различии притязаний, характерных для сообществ «черного рынка» и субкультур, или систем и практик вознаграждения, которые здесь складывались, на практике те и другие «параллельные структуры» выполняли очень похожие, если не идентичные, социальные функции, вследствие этого достаточно часто возникали не только проблемные ситуации, связанные с выходом субкультур на «черный рынок» услуг, кадров или артефактов, но и всякого рода сообщества, которые обладали признаками их обоих. В качестве наиболее характерного примера таких промежуточных сообществ я бы указал на субкультуры байкеров и так называемых люберов, то есть сообщества, образ жизни которых с равным основанием можно было рассматривать и как альтернативу сложившемуся социальному порядку, притом достаточно радикальную, и как типичное отклоняющееся поведение или даже кодифицированные преступные действия – двусмысленность, которая вообще характерна для «лиминальных» социальных практик<sup>61</sup>. Помимо этого, стоит обратить внимание будущих исследователей феномена на политические и религиозные субкультуры, в советское время со-

---

<sup>61</sup> См.: Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983.

хранявшие теневой характер<sup>62</sup>, а также на сообщества разного уровня легальности<sup>63</sup>, членство в которых обеспечивало более или менее широкое освоение практик рукопашного боя, позднее все эти субкультуры, граница между которыми достаточно часто бывала весьма условной, сыграли очень важную роль в идеологическом и кадровом обеспечении политического транзита.

Там у них все эти альтернативные модели образа жизни считаются симптоматикой кризиса, переживаемого «западными» обществами в условиях глобальных социальных изменений, в советское время его обычно диагностировали как «общий кризис капитализма», а в наши дни рассматривают как диффузное и вялотекущее разрушение modern цивилизации как таковой<sup>64</sup>, безотносительно к формам экономики или характеру политического режима. В нашей стране моде-

---

<sup>62</sup> Тут стоит сослаться по крайней мере на две очень важные работы: Петровская Е. Безымянные сообщества. М.: Фаланстер, 2012; Anthony P. Cohen. *The Symbolic Construction of Community*. L.-N.Y.: Routledge, 1985.

<sup>63</sup> Если кто не знает или забыл, в советское время изучение восточных единоборств было запрещено (точнее – требовало специального допуска), однако «под крышей» спецслужб прятались от надзора многочисленные сообщества, которые обеспечивали такую возможность практически каждому, кто располагал соответствующими контактами, в аналогичном положении находились и религиозные сообщества, ориентированные на заграничные центры (католики, например).

<sup>64</sup> Этому кругу вопросов посвящена огромная литература, на сколько-нибудь представительный обзор которой я даже не претендую. Сошлюсь только на одну вполне информативную публикацию, которая есть в моей домашней библиотеке: De Curtis A. (ed.). *Rock & Roll and Culture*. *The South Atlantic Quarterly* // Fall. 1991. Vol. 90. N 4. Durham: Duke Univ. Press, 1991.

ли образа жизни, предлагаемые субкультурами, в значительной степени оставались разновидностью карго-культа, однако связь этого культа и его символов или практик с групповым травматическим опытом местного «среднего класса», на мой взгляд, вполне очевидна<sup>65</sup>. Для советского общества, вопреки распространенному предрассудку, 70-е годы не были временем застоя в буквальном смысле этого слова, но скорее вялотекущего и диффузного конфликта между социальными переменами, которые принято было именовать «научно-техническая революция», и так называемой «прусской» моделью развития<sup>66</sup>, которая именно в этот период стала идеологической, политической и экономической догмой, тоже,

---

<sup>65</sup> К началу 80-х кризис отечественного «среднего класса», трактуемый как свидетельство общего кризиса «системы», становится едва ли не центральной темой киноискусства: об этом, в частности, «Полеты во сне и наяву», «Осенний марафон», «Парад планет», «Послесловие» и еще целый ряд не столь успешных фильмов. Тут кстати еще раз сослаться на Милтона Йингера: «...хиппи... являются примерами *par excellence*... контркультуры, чей *raison d'être*... состоит в инверсии ее членами определенных ключевых ценностей и практик американского среднего класса». См.: Yinger J.M. *Op. cit.* P. 835.

<sup>66</sup> Имеется в виду оппозиция «американской» и «прусской» моделей развития, которую В.И. Ленин вводит в одной из своих работ (какой именно – забыл, но в советское время эта оппозиция была идиоматическим общим местом), сколько понимаю, речь идет о противопоставлении моделей развития, предполагающих либеральный/авторитарный политический режим, а также его ориентацию на расширение территории / рост финансового и социального капитала *per capita*. Что-нибудь похожее, скорее всего, есть у Карла Шмитта, в терминах времен «перестройки» это оппозиция интенсивной/экстенсивной стратегий развития: Лапин Н.И., Беляева Л.В. (отв. ред.). Кризисный социум. Наше общество в трех измерениях. М.: ИФРАН, 1994.

по сути дела, «предметом веры» или, по крайней мере, невротической obsессией: с одной стороны, именно в этот период советское общество претерпело весьма основательные структурные сдвиги, которые, собственно, и обусловили возникновение отечественного «среднего класса» с его ориентацией на достаточно широкую персональную автономию<sup>67</sup>, однако с другой – эти сдвиги осуществлялись под неуспешным и очень жестким контролем элит, заинтересованных в сохранении чисто консервативных форм культуры, которые бы исключали вовсе или достаточно жестко ограничивали перспективу частной, то есть личной или групповой, инициативы – не случайно именно в этот период слово «самодеятельность» или его дериваты стало расхожим пейоративом, сохранившим такую прагматику по сей день. Как и прежде, в советском обществе все эти изменения начались примерно тогда же, что и там у них, а если дальнейшее развитие событий заметно отличается как по сценарию, так и по достигнутому результату, то решающую роль здесь опять-таки сыграли различия между их «подразумеваемыми обстоятельствами», как сказал бы Станиславский: у нас эти различия отнюдь не остановили изменений, о которых речь, однако существенно их замедлили, а главное – в очередной раз вытеснили их на социальную периферию общества, в результате чего движущей силой изменений стали маргина-

---

<sup>67</sup> См.: Гладыш А. (Игнатъев А.А.). Структуры Лабиринта: отчет о полевых наблюдениях. М.: Ad Marginem, 1994.

лы, а их предпосылкой – различные формулы компромисса между нормативными практиками господства и структурами повседневной жизни, то есть коллизия, хорошо объясняющая качество тогдашних политических анекдотов. Во всяком случае, задним числом очевидно, что даже проект середины 60-х, известный как Пражская весна, или его реплика конца 80-х, известная как перестройка, были попыткой нащупать формулу компромисса между императивами советской политической системы и таковыми же местного «среднего класса», окончательно сформировавшегося как раз к этому времени<sup>68</sup>. Что же до крушения этой системы в начале 90-х, то оно произошло благодаря вовлечению в революционный процесс различных группировок «номенклатуры», стремившихся преобразовать корпоративное владение «орудиями и средствами производства», как говаривали прежде, в частную собственность и свой личный капитал, обе этих проблемы, как нетрудно заметить, актуальны по сей день.

Все эти процессы объясняют не только многое из того, что к исходу 80-х случилось с отечественной экономикой или политической системой, но и достаточно существенные изменения в характере публики, которая покупала музыкальные записи или заполняла концертные залы, а также в ее ожиданиях, связанных с такого рода практиками: если в 60-е годы эта публика представляла собой классический «муль-

---

<sup>68</sup> Именно этот компромисс и оказался утопией, взлет и падение которой демонстрирует история отечественных рок-групп.

титюд», то есть множество индивидов, объединяемых исключительно сходными музыкальными вкусами, а ее ожидания или аффекты в значительной степени сводились к чисто потребительским (из-за чего реальными лидерами субкультур «первого поколения» оказались не музыканты, а поставщики записей), то в 80-е такая публика, напротив, представляла собой автономные и достаточно устойчивые сообщества, чьи ценности, понятия и образцы поведения в совокупности конституируют некий альтернативный образ жизни в целом, а не только предпочтительную форму досуга. В таком контексте субкультура приобретает весьма специфические функции, связанные уже не столько с поддержанием компромисса между общепринятыми и девиантными сценариями поведения, как это было прежде, сколько с обеспечением персонального или группового транзита от сложившегося к альтернативному социальному порядку<sup>69</sup>, включая исход из

---

<sup>69</sup> Все эти весьма специфические изменения в прагматике субкультур, на мой взгляд, проясняют одну из самых загадочных идиом, получивших хождение в 80-е годы, – разграничение между «рок-музыкой», или просто «роком», и «попсой»: если у хиппи, панков и «металлистов» субкультура переживается как своего рода культовое сообщество, которое предполагает свои особые святыни, обряды перехода и табу, отсылающие скорее к партикулярному опыту «скверны» и «чистоты», нежели к общепризнанным эстетическим или даже чисто техническим критериям, то у музыкантов и публики, ориентированных на структуры «черного рынка», из которых позднее вырос нынешний российский шоу-бизнес, сохраняется и традиционная социальная идентичность музыканта как артиста, и привычные формы его интеракции с публикой, и его ориентация на такие общепринятые критерии успеха, как сборы, гонорары, внимание прессы, тиражи записей или какие-то другие хорошо наблюдаемые артефакты социального признания.

примордиальных сообществ (семьи, прежде всего), поддержи соответствующих инноваций, а также практики, направленные на преодоление кризисов идентичности, в первую очередь – ритуал, обычно именуемый session и предполагающий коллективное переживание музыки в качестве ее исполнителя, слушателя или танцора; соответственно, музыка, текст или сценический перформанс утрачивают характер самодовлеющего артефакта, музыкант перестает быть только или даже в первую очередь артистом и становится мистагогом, тогда как публика, в свою очередь, превращается в сообщество инициантов, посвящаемых в новый образ жизни.

Симбиоз между музыкантом и его публикой, вообще говоря, предполагаемый не только субкультурами, но и «теневым» шоу-бизнесом с его культом «звезд эстрады», очевидно, представлял собой очередную формулу компромисса между «новаторами» от культуры и «архаистами» от советской идеологической традиции; на практике этот компромисс способствовал окончательной повсеместной русификации текстов и мелоса, а также превратил артиста в политически значимую фигуру<sup>70</sup>. Тем не менее этот же самый компромисс означал, что пространством, в границах которого

---

<sup>70</sup> Тут кстати вспомнить и попытки Сергея «Паука» Троицкого участвовать в выборах мэра нескольких разных городов, и вполне серьезное намерение покойного Жана Сагадеева, лидера рок-группы «ЭСТ», основать политическую партию, и даже награждение Б. Гребенщикова орденом «За заслуги перед Отечеством», за рубежом такого сорта притязания или награды давно уже стали привычным общим местом.

новая музыкальная культура вправе рассчитывать на социальное признание, а ее приверженцы – на вознаграждение и карьеру, становится достаточно компактное гетто; создание московского или питерского рок-клуба позволило объединить такие гетто, поставить их под контроль «смотрящих» и тем самым придать им относительную легальность, однако перспектива осталась такой же, какой была.

\* \* \*

Как видим, долговременная, на протяжении нескольких десятилетий, и весьма энергичная попытка имплантации «западной» музыкальной культуры в советское общество, несмотря на свои относительные успехи в 70-е годы, завершилась практически безрезультатно, в той же амбивалентной исходной ситуации конфликта между «новаторами» от культуры и «архаистами» от политической идеологии, в какой началась, только что оформленной как «гетто», то есть особого рода социальный институт. В утешение энтузиастам «модернизации» или других подобного рода затей следует отметить, что это вообще их оптимальный исход, примерно таким же, как правило, оказывается результат любой целенаправленной частной попытки изменить традиционное общество, внедряя в него различного сорта новшества; конечно, советское общество трудно рассматривать как традиционное, однако по своей реакции на инокультурные заимство-

вания то и другое мало отличается друг от друга<sup>71</sup>. Тут, конечно, есть более общая и очень серьезная проблема, которая требует специального исследования: как уже сказано в самом начале главы, заимствовали все и всегда, это обычная практика, но тут у нас заимствования обычно так и остаются экспонатом кунсткамеры, они, безусловно, порождают какую-то не очень долгую «инновационную волну», однако не укореняются и не дают жизнеспособных побегов, но скорее оказываются стимулом или прецедентом для очень постепенного формирования чего-то аналогичного своего. Во всяком случае, коллизия, о которой я рассказываю, разрешилась не потому, что проблема имплантации «западной» музыкальной культуры в советское общество где-то к середине 90-х была решена, а из-за исчезновения тех обстоятельств, которые ее породили<sup>72</sup>, прежде всего – идеологического дик-

---

<sup>71</sup> Одним из объяснений этого сходства является роль идеократии, все равно – социалистического, неолиберального, клерикального или еще какого-либо типа как субститута традиции в контекстах ее системного кризиса. См.: Игнатъев А.А. Ценности науки и традиционное общество (социокультурные предпосылки радикального политического дискурса) // Вопросы философии. 1991. № 4. С. 3–30.

<sup>72</sup> В данном случае середина 90-х годов обозначена как момент реального, а не номинального завершения процесса, структурированного как последовательность 12-летних циклов; строго говоря, первый, начальный, период движения, о котором речь в данной статье, охватывает период с 1960 по 1972 год; второй, кульминационный, – с 1973 по 1984 год; наконец, третий, завершающий, – с 1985 по 1996 год. Исчерпание динамики этого процесса было ознаменовано целым рядом «знаковых» событий, включая награждение одних и уход или эмиграцию других. См.: Игнатъев А. Хроноскоп, или Топография социального признания. М.: Три квадрата, 2008.

тата партии; напротив, различные «параллельные структуры» с их специфическими практиками не только сохранились, но и были легализованы как повседневная социальная рутина шоу-бизнеса, однако это уже совсем другая история.

Тем не менее вдогонку предложенной аналитике уместно поставить еще более общий вопрос: в чем, собственно, разница между политическими, экономическими, артистическими или даже бытовыми «проектами» и собственно «утопиями»? – почему движение, взлет и упадок которого рассматривается в данном случае, следовало диагностировать именно в таких терминах? Такой вопрос может быть поставлен и во многих других контекстах, например: следует ли нам рассматривать «первый русский авангард» как несбыточную «утопию» или как вполне реалистичный и даже частично осуществленный социальный «проект»? – является ли «утопия» какой-то специальной разновидностью «проекта»? – может быть даже, это вообще совсем разные феномены, и «утопия» скорее разновидность того, что по-английски называется dreams? – или эти самые dreams и «проекты» обозначают лишь разные концы некоей идеально-типической шкалы, позволяющей идентифицировать и оценивать различные альтернативы тому, что называется «реальность»? – можно ли «толкование утопий», как и «толкование проектов», рассматривать как такую же законную форму рефлексии о бессознательном, что и классическое толкование сновидений по Фрейдю? Это все вопросы, которые

еще ждут своего исследования, однако можно отметить, что эмпирические референты «проекта», каким бы он ни был и кто бы ни был его автором, всегда расположены в будущем, тогда как для «утопии» они всегда локализованы в настоящем, только где-нибудь далеко-далеко, в неизвестном месте, каковым, собственно, «Запад» и был для подавляющего большинства героев моего рассказа. По сути дела, на практике авторы «утопий» занимаются тем же, что и специалисты в области PR или даже обыкновенной «промывки мозгов», в этом, в частности, их принципиальное отличие от инициаторов «проекта», который вполне может быть навязан силой<sup>73</sup>, тогда как характерной отличительной особенностью массмедиа, напротив, является конструирование «предметов веры» и манипуляция ими, а вовсе не принуждение и репрессии.

Коротко говоря, эмпирические референты «проекта» локализованы в мире смыслов, которые предполагаются курсом инструментального принуждения к действиям, направленным на, так сказать, «материализацию будущего», другое дело, что такого рода действия всегда могут потерпеть неудачу, вследствие чего желаемое «будущее» попросту не наступит. Напротив, эмпирические референты «уто-

---

<sup>73</sup> У человека, не имеющего возможности уклониться от участия в осуществлении проекта или эффективно ему противодействовать, формируется обычный «стокгольмский синдром», вследствие которого содержание проекта и его осуществимость приобретают статус «предмета веры», как «строительство коммунизма» в советском обществе, но это все-таки особый вопрос, опять-таки выходящий за границы обсуждаемого здесь предмета.

пии» существуют «здесь и теперь», однако исключительно как «предметы веры», то есть локализованы в мире смыслов, предполагаемых коммуникативным, по Ю. Хабермасу, дискурсом «публичной сферы», в том числе массмедиа, а также религии или других культовых практик, средство которых предмету моей аналитики хорошо заметно<sup>74</sup>. Тут я бы напомнил, что и классическая новоевропейская утопия – феномен не столько литературы, сколько публичной полемики («публицистики»), которой, по сути дела, занимались авторы наиболее известных конструкций подобного сорта, то есть артефакт политического процесса, отнюдь не лишённого преимущественности по отношению к чисто религиозным конфликтам.

---

<sup>74</sup> Сам факт сходства или даже типологического сродства между профессиональным и «медийным» дискурсами, как и наличие конкуренции между сообществами, которые их практикуют, не вызывает сомнений, однако сколько-нибудь детальное сопоставление функций, выполняемых соответствующими институтами, требует самостоятельного и очень серьёзного исследования, претендовать на которое автор данной статьи категорически не готов. Тем не менее взгляд Н. Лумана на «реальность массмедиа» вполне сопоставим с трактовкой религии у П. Бергера: та же социальная функция agenda setting, та же установка на конструирование «предметов веры» и такие же, в конечном итоге, притязания на монополию экспертных функций.

## **2. Размышления о советском государстве: революция и теократия**

Главная и очень серьезная проблема, с разрешением которой сопряжена аналитика советского государства, заключается в том, что сегодня это неинтересная, ненужная и даже небезопасная затея: никакой общественно значимой дискуссии, предметом которой было бы это государство, сегодня нет, разве только осторожная и сугубо кулуарная перебранка между историками по отдельным очень специальным и частным вопросам, какой-то конкретной и актуальной экономической, политической или социальной проблемы, для решения которой действительно необходимо погружение в советское прошлое, тоже пока не заметно, советское государство рухнуло, исчезло, рассыпалось, развеялось, будто его и не было никогда, кануло в Лету, реку забвения, откуда его никто не спешит доставать реально, на это попросту нет мотивации. Для молодых это бесспорное доисторическое, в буквальном смысле выражения, прошлое, которое попросту незачем знать, образцовое «папино кино», которое никому ничего интересного или полезного не подсказывает, только мешает психологической сепарации, поискам своего места в жизни и сочинению планов на будущее, то есть формирова-

нию собственной неповторимой идентичности, в самом лучшем случае хранилище стройматериалов для конструирования всяких ретроспективных утопий, граница их «жизненного мира» во времени расположена где-то в окрестностях событий 1991 года, не ранее, о которых они, впрочем, тоже имеют уже самое смутное представление.

Для старшего поколения, в свою очередь, советское, до катастрофы 1991 года, прошлое травматично, причем для всех, кто его пережил, а не только тех, чьи родители или близкие родственники погибли на войне, сгинули в концлагере, запятали себя поступками, компромиссами или альянсами, сомнительными в нравственном отношении, в том числе пресловутым стукачеством или даже участием в расстрелах, там осталось очень много всякого такого, о чем не хочется помнить (оттого-то в этом поколении так много сильно и безнадежно пьющих), чего никто не должен знать и о чем, соответственно, нельзя говорить, можно только умалчивать, оно должно уйти, умереть или навеки уснуть, затеряться в недрах бессознательного и в архивах<sup>75</sup>, вот поче-

---

<sup>75</sup> Впервые чувство отчуждения от советского прошлого, его выталкивания куда-то в архив, в музей или в бессознательное – не осуждения, осмеивания, оплакивания или прославления, как у других, а вот именно отчуждения, деактуализации – появляется, наверное, в поздней прозе Ю. Трифонова, который, наверное, одним из первых еще в 70-е годы начал понимать, что «советский проект» исчерпан, история советского государства – действительно неактуальное прошлое, в его повести «Дом на набережной» есть даже весьма характерный эпизод: повествователь и, надо полагать, alter ego автора пристает к одному из критически важных персонажей с вопросами о его героической молодости, а тот ему с раз-

му это прошлое герметично, практически как вода в Мертвом море, оно выталкивает на поверхность всякого, кто туда пробует погрузиться. Между тем в прошлое (так уж оно устроено) нельзя отправиться наугад, не обладая хотя бы самой приблизительной «дорожной картой», то есть представлениями о разметке соответствующего пространства и времени<sup>76</sup>. Отдельные вылазки в советское прошлое уже были предприняты<sup>77</sup>, однако рассчитывать на получение сколько-нибудь целостной и объективной его картины, которая бы позволяла рассматривать советское государство как систему со своей специфической инструментальной рациональностью («номосом», как сказал бы Карл Шмитт), вменяемую и

---

дражением отвечает: «Охота вам заниматься всей этой жеребятиной!» Такая позиция, в частности, хорошо экспонирована в публикациях авторов, покинувших Россию в канун или сразу после событий 1991 года. См.: Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. М.: НЛО, 1997.

<sup>76</sup> Обычно такую разметку обеспечивают учебники истории, однако учебника, который бы выполнял эту функцию сколько-нибудь успешно применительно к советскому прошлому, сегодня нет, краткий курс истории ВКП(б) нынче дезавуирован, а ничего сопоставимого с ним по уровню решения указанной задачи так и не появилось.

<sup>77</sup> См.: Гладыш А. (Игнатъев А.А.). Структуры Лабиринта: отчет о полевых наблюдениях. М.: Ad Marginem, 1994; 1997; Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005; Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. М.: НЛО, 2014; Данилкин Л.А. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. М.: МГ, 2017; Каспэ И.В. Союз с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры. М.: НЛО, 2018; Слезкин Ю.Л. Дом Правительства: Saga о русской революции. М.: АСТ, 2019; Boer R. Stalin: From Theology to the Philosophy of Socialism. Singapore: Springer, 2018. Наверное, есть еще что-нибудь, но эта моя книжка отнюдь не обзор литературы вопроса.

достаточно устойчивую политическую конструкцию, в этом случае не приходится, всякое, даже фактуально безупречное, суждение о прошлом в этом случае только идеология или утопия, в лучшем случае – чьи-либо частные мемуары.

Нетрудно заметить, что перед нами парадокс, очень похожий на тот, с демонстрации которого когда-то началась социология как научная дисциплина: с одной стороны, каждое партикулярное прошлое, как и конкретный суицид, – уникальная личная драма, комедия или даже трагедия, сплетенная из множества провалов или удач, которых, в принципе, могло бы не случиться вовсе, с другой же – это все элементы головоломки, итоговый паттерн которой заранее и хорошо всем известен, крушение советского государства в августе 1991 года; очень похожую ситуацию когда-то смоделировал Торнтон Уайлдер в повести «Мост короля Людовика Святого».

Из подобной ситуации, как известно, есть только два выхода – исключая, разумеется, категорическое умолчание о советском прошлом как о небывшем: один «годить», как сказал бы М.Е. Салтыков-Щедрин, то есть дожидаться или добиваться открытия архивов, публикации мемуаров, восстановления «исторической правды» даже вопреки желанию множества «серьезных людей» ее напрочь забыть и прочего такого, пока же этого не произошло – воздерживаться от общих суждений и оценок, если на то не поступит высочайшего распоряжения, но и тогда, в общем, не торопиться с вы-

водами, – позиция, унаследованная еще из советского прошлого. Другой же, наоборот, «дерзать», то есть отважиться, рискуя неудачей и всякими репутационными издержками, на выдвижение какой-нибудь интегральной, пусть и сугубо предварительной, следственной версии<sup>78</sup>, на практике это значит попробовать все-таки «определить ситуацию», то есть типовые и массовые контексты повседневного действия, которые породило и чье воспроизводство обеспечивало советское государство, организуя при этом аналитику вокруг какой-то очень конкретной, хорошо узнаваемой и типичной проблемы. Для автора этой книги наиболее существенной из таких проблем является социальная динамика, то есть условия, которые обеспечивают появление, развитие и тиражирование инноваций, все равно – политических, экономических, технологических или социальных: хорошо известно, что эту проблему советское государство так и не научилось решать, хотя неоднократно пыталось, из-за этого, как

---

<sup>78</sup> Выбор между «годить» и «дерзать», то есть между индуктивным и дедуктивным методами исследования, вообще говоря – неразрешимая дилемма, которую, в частности, обсуждает Гамлет в своем знаменитом монологе, сегодня в социальных науках и гуманистике принято «годить», однако во времена, на которые пришлось мое становление как исследователя, принято было «дерзать». Обычно для разрешения этой дилеммы прибегают к итерации, которую продолжают до тех пор, пока не появляется конкретный и чисто практический мотив на чем-нибудь остановиться, для автора данной работы таким мотивом послужила необходимость ее наконец закончить и оформить. Вопрос о допустимости переноса законов, конституирующих одни общества, на другие здесь, разумеется, возникает, однако его обсуждение я бы предпочел отложить до какого-нибудь более подходящего случая.

считается, была проиграна военно-техническая и политическая конкуренция между СССР и США, «перестройка» даже началась с программы ускорения научно-технического прогресса и только потом обернулась крупномасштабным терминальным кризисом власти.

Обычный взрослый, то есть более или менее социализованный, человек, которому надо зарабатывать на жизнь, заботиться о собственном будущем и растить детей, как правило, консерватор: такой человек перемен не любит, ждет их с тревогой и переживает скорее как источник проблем и всяческого «го-ловняка», нежели как зарю и предвестие свободы, столкнувшись же с ними на практике и в повседневной жизни, по силе-возможности игнорирует или даже саботирует, а когда такое не удастся, то и восстает, поначалу, во всяком случае, психотерапевты и политические аналитики или историки обозначают такое поведение одним и тем же термином «сопротивление», есть даже китайское якобы проклятие – пожелание жить во времена перемен. Для того чтобы вот такой человек переменял свое отношение к переменам, прежде должно что-то случиться, и очень серьезное, что-то такое, что разрушает сложившийся перформативный контекст частного действия с его привычными «лайфхаками», как теперь говорят, фреймами и диспозитивами, в совокупности образующими традицию (или, если угодно, социальную рутину), тем самым блокируя или существенно осложняя повседневное исполнение желаний. Коротко гово-

ря, для того чтобы обычный взрослый человек, отнюдь не страдающий неврозом, возжелал перемен, как-то бы активно и добровольно в них включился или хотя бы перестал им сопротивляться, прежде должны случиться какие-то другие перемены, неожиданные, непрошенные и даже травматичные, ответом на которые, собственно, и являются всевозможные социальные, политические, экономические, технологические или какие-то другие инновации<sup>79</sup>, обычно подобная неблагоприятная перестройка контекста случается сама собой, как более или менее масштабная катастрофа, однако иногда ее организуют специально, чтобы потом осуществить какой-то заранее подготовленный инновационный проект.

Для меня самого, например, «перестройка» реально началась где-то весной 1987 года, когда приятельница в разговоре по телефону заявила, что «там у них наверху», похоже, что-то действительно происходит, а на мой встречный вопрос, с чего она это взяла, рассказала такую историю: сломала зуб, срочно понадобилось к стоматологу, позвонила «своему», у этой моей приятельницы все было всегда, как говорится, «схвачено»: был свой хорошо прикормленный стоматолог, мясник, автослесарь, гинеколог и прочая нужная публика, «система», которая обеспечивала ей совладание с повседневными невзгодами или вообще исполнение желаний, была проверенной и в случае нужды срабатывала достаточ-

---

<sup>79</sup> Калшед Д. Внутренний мир травмы. М.: Академический Проект, 2001; Alexander J.C. Trauma: A Social Theory. Cambridge, UK/Malden: Polity Press, 2012.

но эффективно, однако на этот раз начались всякого рода «отказы», иначе, нежели используя чисто инженерные термины, не скажешь, потому что такая система действительно техническое устройство, а не сообщество. Свою проблему моя приятельница, конечно, решила, однако это потребовало сначала всяких дополнительных затрат, а потом и существенной перемены контекста в целом, то есть тех самых действий, какие в подобной ситуации предпринимают любые живые и мобильные твари.

В более общем плане существует множество разнообразных частных данных, показывающих, что радикальные технологические прорывы всегда существенным образом ассоциированы с острыми политическими (войны), экономическими и экологическими кризисами, в том числе политическими (революции), техногенными и природными катастрофами, что здесь причина, а что следствие – отдельный интересный вопрос, однако корреляция между соответствующими переменными достаточно высока<sup>80</sup>. Более того, существует хорошо известный и убедительный «фальсифицирующий» пример: аборигены острова Тасмания, отрезанные землетрясением от материка 8000 лет назад, сохранили свою экономику, технологию и социальную организацию практи-

---

<sup>80</sup> Здесь «по понятиям» надлежало бы дать ссылку на источники, однако литература вопроса настолько обширна и разнородна, что выбрать две-три репрезентативные публикации затруднительно. Специалистам эта литература знакома и так, прочие же вполне могут воспользоваться современными компьютерными поисковыми системами или даже поверить мне на слово.

чески неизменными, как считается, чисто потому, что никаких катаклизмов, побуждающих к развитию и прогрессу, за это время на острове не случилось; по той же причине, кстати, они вымерли вскоре после первых же контактов с европейцами, подхватив от них какую-то вполне курабельную заразу, измениться в ответ на вызовы, как говорится, среды обитания (например, выработать иммунитет к новым болезням) тасманийцы то ли не успели, то ли попросту не смогли. Таким же точно образом, в ответ на перемены в социальных контекстах интеракции, меняются образцы поведения, понятия и ценности, в совокупности именуемые «культура», в том числе языки, а в ответ на перемены в среде обитания меняются генотипы биологических видов (пресловутая «теория эволюции» утверждает именно и только это, прочее – спекулятивные домыслы), всякая лингвистическая и социальная архаика или «допотопные» биоценозы сохраняются только там, где перформативный контекст неизменен.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.